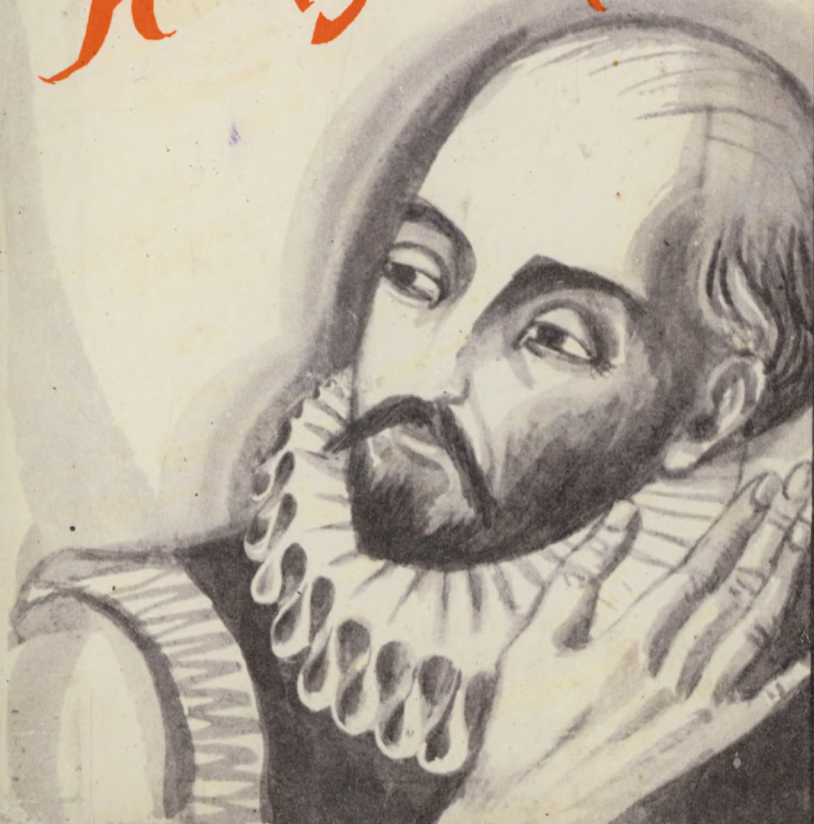


МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ

Об искусстве
Жить достойно





МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ

МОСКВА 1973

ОБ ИСКУССТВЕ
ЖИТЬ ДОСТОЙНО

ФИЛОСОФСКИЕ ОЧЕРКИ

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1
М 77

**Составители и авторы предисловия
А. Гулыга и Л. Пажитнов**

Художник Л. Зусман

М — 0763—600 — 373—73
101(03) 73

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1973 г.

МИШЕЛЬ
МОНТЕНЬ
И ЕГО КНИГА

...Умение достойно проявить себя в своем природном существе есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног.

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ

Три книги «Опытов» Мишеля Монтеня (1533—1592) отмечены неувядаемой прелестью культуры Возрождения. Они прожили долгую историческую жизнь. Ими зачитывались Пушкин и Герцен, Вольтер и Бальзак, Лев Толстой и Горький.

С именем Монтеня во французском Ренессансе связано, по словам А. И. Герцена, «особое, практически-философское воззрение на вещи, не наукообразное, не имеющее произнесенной теории, не покоренное ни одному абстрактному учению, ничьему авторитету, — воззрение свободное, основанное на жизни, на самомышлении и на отчете о прожитых событиях, отчасти на усвоении, на долгом, живом изучении древних писателей; воззрение это стало просто и прямо смотреть на жизнь, из нее брало материал и совет; оно казалось поверхностным, потому что оно ясно, человечно и светло...»

«Опыты» относятся к тем книгам, которые издавна именуются «приобретением навек». Высоким строем мысли, свободным стилем письма, непринужденной манерой повествования они воздействуют столь же неотразимо, как и своими идеями. Мишель Монтень — собеседник редкого ума, обаяния и такта. Не пренебрегая буднями, повседневной прозой, его книга влечет к размышлению над судьбами мира и прихотями истории, пробуждает вкус к здоровой самостоятельности в суждениях и поступках. Поток авторской мысли — щедрой, жизнелюбивой, лукавой, доверчивой — несет в себе мо-

гучую очистительную силу. В нем — нерастраченные запасы мудрости и душевного здоровья.

Из обширного текста «Опытов» читатель найдет в этой книге фрагменты, касающиеся главным образом этических вопросов.

«Опыты» — удивительная книга. Мир, выступающий с ее страниц, с самого начала поражает пестротой и почти перевозданным хаосом. Монтень пишет обо всем: о скорби и о праздности, о старинных обычаях и о боевых конях, о стихах Вергилия и о средствах передвижения, о суетности и о раскаянии, о величии римлян и о бережливости, о снах, именах, запахах, молитвах, наградах, уединении, дружбе, воспитании детей, о самомнении, о том, что мы смеемся и плачем от одного и того же, и о многом, многом другом.

Исследователи сравнивают композицию «Опытов» с живописным девственным лесом без тропинок и просек, где даже бывалому путешественнику легко заблудиться. Монтень действительно не заботится об упорядоченности и последовательности: в его книге все асимметрично, стихийно, причудливо. Строй рассуждений, стиль письма свидетельствуют о внутренней свободе, раскованности мысли и повествования. Монтень во всем остается верен себе, и эта верность дается ему легко, без усилий.

Философия Монтеня выглядит странно, необычно и непривычно. Почти все рассуждения о законах, морали, религии перемежаются описаниями будничных событий повседневной жизни.

Монтень ведет читателя в интимные тайники своей души, поверяет свои недуги, привычки, не скрывая недостатков, даже тех, которые могут казаться предосудительными. Все это делается с подкупающей серьезностью и чувством ответственности. Автор не заботится о том, как будет выглядеть, он хочет быть правдивым. Призывая других оставаться самими собой и не становиться на ходули, он первый неукоснительно следует этому правилу.

Во времена Монтеня такая манера писать отнюдь не была нормой. Средние века еще не ушли в прошлое, и строгости христианской идеологии сохраняли силу. Под их судом все связанное с чувствами, человеческими желаниями и страстями казалось дьявольским искушением, уводящим человека с его истинного пути. У ближайшего предшественника Монтеня, Франсуа Рабле, восторженное прославление радостей естественной жизни было дерзким вызовом церковному аскетизму. Не случайно в его сатире больше всего доставалось попам.

Монтень не столь дерзок. Отношения с официальной церковью у него наилучшие. Свою книгу он почтительно отсылает в католическую цензуру, покорно принимает ее замечания (правда, лишь на словах: никаких изменений в текст не вносит).

Философия Монтеня является читателю результатом свободного размышления о жизни. Он живет на страницах книги не только мыслью, но

всем существом, всей личностью, судьбой, характером, психологией и даже физиологией. В человеке равно совершенны и дух и плоть. Предпочитать одно в ущерб другому кажется ему искусственным, ненормальным.

Из философских трактатов Спинозы, Декарта, Канта или Гегеля трудно что-нибудь узнать о жизни авторов этих книг. Они не вводили свой повседневный опыт прямо и непосредственно в ткань философских сочинений. Он не казался им достаточно солидным аргументом, убедительным для всех остальных. Они искали подтверждения своим идеям в науке, в накопленных знаниях.

Монтень верит своему жизненному опыту. Книжные знания и данные истории для него — такой же исходный материал в работе мысли, как и собственные впечатления. Этим последним он доверяет ничуть не меньше.

«Опыты» написаны вольно, пластично и легко, без навязчивости и назидательных претензий. Монтень не утруждает себя позой пророка и чуждается всякой многозначительности в отношении к своей книге, ее цели и содержанию. Мертвую схоластику он презирает, но традицию античной философии ценит и чтит, восхищается высоким даром мысли.

Знания автора о мире развернуты в «Опытах» как плод своеобразной мудрости, уходящей корнями в личность, ее самочувствие, впечатления, настроения, склад характера, образ жизни.



*„Под
сень
мира
и
свободы...“*

Мишель Монтень родился в 1533 году в родовом поместье в окрестностях Бордо, в купеческой семье Эйкемов, получившей дворянство в конце XV века. Из сведений, дошедших до нас, известно, что жизнь его сложилась ровно и сравнительно благополучно. Значительную часть времени он провел в родовом замке, жил весьма уединенно. Лишь на склоне лет, уже после создания «Опытов», он предпринимает длительное путешествие по Швейцарии, Германии, Италии и в конце жизни — непродолжительную, но богатую событиями поездку в Париж.

Молодым человеком Монтень служит советником по судебному ведомству в Бордо, а в 1581 году на два срока избирается мэром этого города. Остальное время отдано мирному, спокойному существованию. Правда, иногда бывают и встряски: то вдруг эпидемия чумы сорвет с насиженного места и заставит несколько месяцев скитаться вместе с чадами и домочадцами по окрестным местам, то над стенами замка запыхает зарево междоусобиц. Но это — редкие и непродолжительные эпизоды, нарушавшие ровное течение жизни.

Биографы предполагают участие Монтеня в военных походах: в усыпальнице он изображен в кольчуге, со шлемом и львом у ног. Подтверждением тому служат и некоторые рассуждения из «Опытов». Однако заметного следа в жизни и памяти Монтеня военные походы не оставили. К служебным обязанностям он относится добросовестно, но не ревностно, служит больше из сыновней почтительности — исполняя отцовскую волю, — чем по внутреннему побуждению.

После смерти отца Монтень незамедлительно оставляет дела, выходит в отставку и обосновывается в родовом поместье. Это событие засвидетельствовано красноречивой надписью, выгравированной в его библиотеке: «В 1571 году, в последний день февраля, на 38-м году жизни, в день своего рождения, накануне мартовских календ, Мишель Монтень, давно утомленный рабским пребыванием при дворе и общественными обязанностями и находясь в расцвете сил, решил скрыться в обители муз, покровительниц мудрости; здесь в спокойствии и безопасности он решил провести остаток жизни, большая часть которой уже прошла, — если, во всяком случае, судьбе угодно будет позволить ему использовать это обиталище и наследие предков под сенью мира и свободы» *

* Мишель Монтень, Опыты. Изд. АН СССР, М. — Л., 1958—1960, кн. I, стр. 424. В дальнейшем ссылки на «Опыты» и комментарии будут даваться по этому изданию. Перевод А. С. Бобовича, Ф. А. Коган-Бернштейн и Н. Я. Рыковой.

По делам службы Монтеню пришлось бывать при дворе. Дошли сведения о наставлениях для молодого Карла IX, которые он пишет под диктовку матери Карла IX — Екатерины Медичи.

Известно, что Монтеню королем был пожалован орден Святого Михаила — высшее отличие французского дворянства. Мы знаем также, что зимой 1584 года Монтень принимал у себя в замке вождя гугенотов Генриха Бурбона (Наваррского) вместе с его свитой. Сохранилась его переписка с Генрихом, который, готовясь вступить на престол, настойчиво стремился приблизить к себе известного философа. Однако придворная карьера не прельщает Монтеня.

Мэром Бордо его избирают в 1581 году, в то время, когда он путешествует за пределами Франции. Сам он никаких усилий для своего избрания не предпринимал. Это специально отмечает королевское послание, в котором царствовавший в те годы Генрих III выражает удовлетворение его кандидатурой и повелевает без проволочек приступить к исполнению обязанностей.

На склоне лет, в 1588 году, Монтень приезжает в Париж, чтобы присутствовать при очередном издании своих «Опытов», значительно расширенном и дополненном третьей книгой (две первые книги «Опытов» впервые вышли в свет в Бордо в 1580 году). Неожиданно для себя он попадает в водоворот бурных событий. Восставшие городские низы берут управление в свои руки, король Генрих III и весь двор бегут из Парижа.

Монтень следует за королевским двором в Шартр и Руан, а затем возвращается в столицу. Здесь его арестовывают приверженцы «Католической лиги»^{1*}, предводительствуемые Генрихом Гизом, и сажают в Бастилию как заложника. Выпущенный из тюрьмы благодаря заступничеству Екатерины Медичи (она оставалась в Париже и вела переговоры с «лигистами» от имени королевского дома), Монтень отправляется в Блуа и присутствует на созванных там Генеральных штатах (французский парламент того времени). Мудрость, такт и прозорливость, отмеченные при исполнении королевских поручений, близость ко двору и высшему свету еще раз открывают Монтеню путь к почетной государственной службе.

Монтень верен себе: вернувшись домой в свой родовой замок, он пополняет «Опыты» главой «О стеснительности высокого положения»: «Противны мне и владычество и покорность... Тот, кто не подвержен случайностям и трудностям, не может также притязать на честь и радость, вознаграждающие за смелый поступок. Жалостная участь — обладать такой властью, что все перед вами склоняется»^{**}.

Время Монтеня — вторая половина XVI столетия — кровавое и жестокое: Францию потрясают бесчисленные религиозные войны и династические распри. Медичи враждуют с Гизами, Валуа — с

* Комментарий см. в конце книги.

** Кн. III, стр. 174, 176.

Бурбонами, католики преследуют гугенотов. Огромные массы людей ввергнуты в мрачную стихию междоусобиц; разоренные селения и города, толпы обездоленных, мародерство, насилия, смута... И все это продолжается годы, десятилетия. Достаточно сказать, что Монтень — современник кошмара Варфоломеевской ночи 1572 года. «Мне приходится жить в такое время, когда вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости, вызванных разложением, порожденным нашими гражданскими войнами; в старинных летописях мы не найдем рассказов о более страшных вещах, чем те, что творятся сейчас у нас повседневно...» *

В этот период времени во Франции складывается абсолютная монархия. Она стремится объединить в рамках централизованного государства раздробленные провинции, сломать сопротивление феодалов, не желающих подчиняться королевской власти. Процесс этот идет трудно и мучительно, осложняется борьбой враждующих кланов, междоусобными распрями.

Для подавляющего большинства населения — крестьянства и плебейских масс городов — это были «господские» войны, несшие им бедствия и хозяйственное разорение независимо от того, одерживали верх католики или гугеноты, Бурбоны или Гизы. Тем более, что и те и другие не брезговали в средствах, не прочь были использовать обста-

* Кн. II, стр. 122.

новку смуты в корыстных интересах. Если грабят, убивают, разбойничают все враждующие группировки, как разобрать, кто прав, кто виноват?

На чьей же стороне справедливость, а на чьей — заблуждение? Когда попораны элементарные нормы человечности, трудно на весах разума взвешивать какие бы то ни было позиции, программы, цели. В междоусобной драке господствует принцип: «Око за око, зуб за зуб». Преступление рождает месть, она плодит новые преступления, все сплетается в отвратительный клубок, где утрачены концы и начала. Естественно, что Монтень, как человек здравомыслящий, всеми силами избегает опасных водоворотов смуты, пахнущих насилием и кровью. Он предпочитает уповать на стены родового замка, защищающие его от пожара династических войн.



*„Как
подданный
и
гражданин...“*

В своих социальных настроениях Монтень не склонен к крайностям. Он не в восторге от современного общественного строя, политических и правовых учреждений, нравов и устоев жизни. Он достаточно просвещенный человек, чтобы пони-

мать, насколько они оставляют желать лучшего: «...Есть ли что-нибудь более дикое, чем видеть народ, у которого на основании освященного законом обычая судебные должности продаются, а приговоры оплачиваются звонкой монетой; где опять-таки, совершенно законно отказывают в правосудии тем, кому нечем заплатить за него...»*

Пятнадцать лет службы в бордоском суде дали Монтеню достаточно оснований, чтобы судить о действительном положении вещей. Его книга полна умной и содержательной критики социального неравенства, рутины административных учреждений, системы образования и воспитания, не способных положить пределы насилию, жестокости.

И тем не менее Монтень крайне осторожно относится к изменению государственного порядка и существующих законов. Он считает, что законы надлежит исполнять. Благо, которое заключено в них, определяется прежде всего их незыблемостью, а вовсе не их моральными качествами.

Монтеню кажется, что никакое изменение существующего не в состоянии ожидаемой пользой перевесить зло, которое возникает из потрясения сложившегося порядка вещей. Не случайно, считает он, те, кто расшатывает государственный строй, чаще всего первыми гибнут при его разрушении. А препирательства о наилучших формах общественного устройства пригодны для изошре-

* Кн. I, стр. 149.

ния ума, но едва ли заслуживают практического отношения:

«Мне представляется, говоря начистоту, чрезмерным самолюбием и величайшим самомнением ставить свои взгляды до такой степени высоко, чтобы ради их торжества не останавливаться перед нарушением общественного спокойствия, перед столькими неизбежными бедствиями и ужасающей порчей нравов, которую приносят с собой гражданские войны»*.

Эти идеи Монтеня, может быть, в большей степени, чем другие, являются откликом на социальные потрясения того времени. В междоусобицах трудно было разглядеть заинтересованность в процветании и здоровом социальном развитии нации, страны. Властолюбие, жадность, фанатизм — вот те мотивы, которые определяли игру страстей в феодальных войнах. Сегодня мы в состоянии проследить в этом мутном потоке известную историческую закономерность. Современникам же этих событий — а Монтень был таковым — все это не могло казаться разумным и плодотворным.

Социальные перемены, сдвиги, сколь бы лучезарно они ни сияли воображению, связаны с массовым кровопролитием. Эту подоплеку политической борьбы своего времени Монтень видит достаточно отчетливо. Если даже потрясения приведут к полезным улучшениям, то лишь в далеком буду-

* Кн. I, стр. 153.

щем. Пока же несомненно одно: они развязывают инстинкты насилия, жестокости, которые безнадежно компрометируют благие цели. Что толку в замене плохих законов на хорошие, если в процессе этой замены массы людей усваивают привычку попирать ногами любые законы?

К тому же всякое участие в междоусобной борьбе чревато утратой личной свободы, права на самостоятельность и независимость в суждениях. В этом пункте Монтень не знает компромиссов и сомнений: для него это зло, и зло абсолютное. Он прямо и недвусмысленно выражает в «Опытах» отвращение к групповым, клановым пристрастиям — они делают человека неразумным и несправедливым, сужают кругозор, плодят нетерпимость, фанатизм. «В нынешних раздорах, терзающих нашу страну, мои взгляды не затмевают в моих глазах ни похвальных качеств наших противников, ни того, что заслуживает порицания в тех, за кем я последовал... Я решительно порицаю порочные выводы вроде следующего: он восхищается любезностью герцога Гиза, — значит, он приверженец Лиги; неутомимость короля Наваррского его поражает, — стало быть, он гугенот; он позволил себе осудить нравы нашего короля, — значит, в душе он мятежник...»*

Монтень — верный сын своего короля. Но к королевской партии он принадлежит больше убеждениями, чем делами и поступками. Ему не по душе

* Кн. III, стр. 292, 293.

междоусобная грызня, за которой он разгадывает честолюбивые и меркантильные интересы, и он меньше всего стремится подбрасывать поленья в этот костер. Издавая сочинения своего рано умершего друга Ла-Бюэси, просветителя и республиканца по убеждениям, Монтень не публикует его «Рассуждений о добровольном рабстве» и некоторых статей, опасаясь, что радикальные идеи автора накалят страсти и омрачат светлую память о нем. И на посту мэра Бордо он упорно примиряет враждующие стороны, пытается гасить остроту столкновений, не примыкая открыто ни к какой партии.

Что обещают междоусобные склоки? От руки наемного убийцы погиб предводитель гугенотов адмирал Колиньи; по приказу Генриха III были убиты братья Гизы; не прошло и года, как столь же бесславно был убит сам Генрих III... Какой во всем этом прок?

Глупо ввязываться туда, где головную боль лечат сечением голов. Гораздо разумнее не добавлять к существующим распрям новые и добиваться порядка и мира.

Монтень чист в своих помыслах. Королевская династия, которой он предпочитает держаться, стремится к централизации государства, устойчивости и не покушается на права слоев, к которым принадлежит Монтень. «Меня не обуревают ни страстная ненависть, ни страстная любовь к сильным мира сего... Что касается наших государей, то я почитаю их лишь как подданный и гражда-

нин, и мое чувство к ним свободно от всякой корысти»*.

В этих словах нет ни малейшей позы. Их искренность подтверждается и сохранившейся перепиской Монтеня с Генрихом Наваррским. В одном из писем Монтень с достоинством отвергает предложение будущего короля о вознаграждении: «... Я никогда не пользовался какой бы то ни было щедростью королей, никогда не просил, да и не заслуживал ее, и никогда не получал никакой платы ни за один шаг, который мной был сделан на королевской службе...»**

Поддержка Монтеня королевской власти продиктована государственными интересами сохранения народа как единого целого.



*„Мы
рождены
для поисков
истины...“*

В философии Монтень ищет «знания себя, а также того, что может научить хорошо умереть и хорошо жить». Его понимание мудрости родственно античному мирозерцанию, напоено близостью с природой, ощущением полноты бытия. Культ

* Кн. III, стр. 10.

** Кн. I, стр. 429.

книжного знания в ущерб душевному и телесному здоровью ему неприятен и чужд. Он презирает ученых схоластов-педантов, задавленных ученостью и потерявших вкус к жизни: «Принимая во внимание способ, которым нас обучают, не удивительно, что ни ученики, ни сами учителя не становятся от этого мудрее, хотя и приобретают ученость... Мы трудимся лишь над тем, чтобы начинить свою память, оставляя разум и совесть праздными»*.

Монтень умудрен жизненным опытом и не сочувствует крайностям, в том числе и в увлечении наукой: «Если предаваться в философии излишествам, она отнимает у нас естественную свободу и своими докучливыми ухищрениями уводит с прекрасного и ровного пути, который указывает нам природа»**.

Природа открыта не только разуму. Она способна питать чувства и страсти человека, нести радости и наслаждения самого различного свойства. Почему нужно отказываться от этих даров, засушить их мыслью? Человек — часть природы, и игра всех ее сил в нем достойна всяческого доверия.

В «Опытах» есть глава, в которой говорится, что наше восприятие блага и зла в значительной мере определяется представлением, которое мы

* Кн. I, стр. 173, 174.

** Кн. I, стр. 251.

имеем о них. Монтень доказывает, что каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает. Он ведет разговор в этой связи о богатстве, славе, здоровье, смерти. Равным образом он рассуждает и о возможностях разума. Велики ли они или ничтожны — так ли это важно! Ломать копья по этому поводу, считает он, удел доморощенных педантов, закосневших в ученом чванстве.

Как выглядят плоды знания с точки зрения Истины или Пользы — вопрос особый. История и судьба постоянно вносят поправки. Но движение мысли, игра ума, его проникающий дар несут величайшее наслаждение и радость.

«Мир наш — только школа, где мы учимся познавать. Самое важное не взять приз, а проявить больше всего искусства в состязании. Тот, кто вещает истину, может быть таким же дураком, как и тот, кто городит вздор...» *

Монтень хочет, чтобы наука служила человеку, просвещала его в делах и поступках, наставляла на путь добродетели. Как только разум покидает реальную почву, человек теряет способность трезво относиться к жизни и самому себе.

Претензии разума на исчерпывающее познание сути всех вещей кажутся Монтеню неоправданными. Мысль ведь всегда индивидуальна, и ей открыт слишком ничтожный клочок явлений, чтобы по нему можно было с достоверностью судить о

* Кн. III, стр. 186.

целом мире. К тому же мысль замкнута в брентную телесную оболочку и не в состоянии избавиться от ее воздействий. Есть еще воздействия воли и страстей, не менее властно диктующих свои требования. Самолюбие и корысть, соображения карьеры и чувство страха легко уведут интеллект с пути объективного и беспристрастного поиска истины.

Монтень скептически относится ко всему, что преподносится от имени разума в качестве непрекаемой догмы и заповеди. «В мире возникает очень много злоупотреблений, или, говоря более смело, все в мире злоупотребления возникают оттого, что нас учат боязни открыто заявлять о нашем невежестве и что мы якобы должны принимать все, что не в состоянии опровергнуть»*.

Было бы опрометчивым видеть в этой позиции Монтезя элементы агностицизма, стремление положить пределы возможностям разума в постижении мира и природы. Критический пафос Монтезя направлен не против разума, а против метафизики, претендовавшей на универсальное и законченное познание Вселенной. Никакой науки как целостной системы знаний в его время не существовало.

Передовой мыслитель, чутко ощущавший веяния эпохи, Монтень расчищал путь началам нового знания, почерпнутого не из схоластических трактатов, а из реального жизненного опыта, ис-

* Кн. III, стр. 314.

следований, экспериментов. Это знание в эпоху Возрождения только набирало силы, нащупывало пути. Оно нуждалось не столько в систематическом обобщении данных — таких данных еще было чакоплено мало, — сколько в свободе от догм и авторитетов, мешавших плодотворной работе мысли.

Средневековая метафизика учила о Вселенной и законах движения небесных тел, о Земле, населяющих ее тварях, о человеке, его происхождении и его призвании, о нормах и правилах его бытия, о его чувствах и разуме, о его прошлом и будущем, о законах общественного устройства и морали. В каждой из этих областей были установлены нерушимые истины, не подлежащие обсуждению, подкрепленные священным писанием и охраняемые церковными авторитетами. Враждебные всякой пытливости ума, духу живого творческого исследования, они были тяжелым препятствием на пути к овладению законами природы.

Именно эту твердыню подтачивает Монтень. Претензии средневековой метафизики на исчерпывающее познание мира он подвергает сомнению. Он — за свободу мысли, за критическую самооценку ума.

В этих условиях проблемы терпимости, способности без вражды относиться к чужому мнению, волнуют Монтеня даже больше, чем интересы истины. Скептицизм в какой-то степени лишает его твердых убеждений: сомнения подчас размыывают их, делают зыбкими, текучими. Но он об

этом не жалеет: в его времена такие убеждения чреватy расправой с инакомыслящими. Свобода от предрассудков заботит его гораздо больше.

«Ведьмы всей нашей округи, — пишет он, — оказываются в смертельной опасности каждый раз, как какой-нибудь автор выскажет мнение, принимающее их бред за действительность»*. Ему не нравится эта «смертельная опасность». Он готов пожертвовать верой, лишь бы не осталось почвы для суеверий. О какой истине может идти речь, если у мысли отнята свобода, если она скована общепринятыми мнениями, освященными авторитетом? Движение, жизнь разума возможны лишь там, где господствует терпимость, где результат не предполагается наперед известным и гарантировано право на заблуждение. Заблуждения в качестве естественных проявлений природы могут быть столь же ценны и содержательны, как и истинные пути.

Монтень ничего не утверждает, ни на чем категорически не настаивает. Он стремится расшатать и разрушить догмы христианской идеологии. Этой цели и служит его сомнение, его скептицизм.

Известно, что скептическое настроение работает на том, что уже добыто, подвергая его сомнению, переоценке. Функция его, как и всякого полемического принципа, разрушительная, очистительная. Созиданию обычно сопутствует уверенность в своих силах, ясное сознание цели.

* Кн. III, стр. 315.

Можно было бы обратить скептицизм Монтеня ему в упрек, показать, как он ослабил энергию его ума и не позволил проложить более глубокую борозду в истории науки. Часто так и делают. Но такая позиция несправедлива исторически и человечески.

В интерпретации Монтеня скептицизм был далеко не безобиден. «Заживо поджарить человека из-за своих домыслов—значит придавать им слишком большую цену» — мало кто в его времена осмеливался ронять такие реплики. И сказано это в прямой адрес инквизиционной охоты на ведьм! Революционер и атеист XVIII века Жан Мелье в своем «Завещании» прямо ссылается на эти строки, полностью солидаризируясь с пафосом и в убеждениями Монтеня.

«Люди обычно ни к чему так не стремятся, как к тому, чтобы возможно шире распространить свои убеждения. Там, где нам это не удастся обычным способом, мы присовокупляем приказ, силу, железо, огонь. Беда в том, что лучшим доказательством истины мы склонны считать численность тех, кто в нее уверовал, огромную толпу, в которой безумцы до такой степени превышают — количественно — умных людей... Я же лично если в чем-либо не поверю одному, то и сто одного не удостою веры и не стану также судить о воззрениях на основании их древности»*.

Вольнодумный скептицизм идей Монтеня пи-

* Кн. III, стр. 312—313.

тал всю атеистическую ветвь французского Просвещения. «Кто хочет научиться сомневаться, — писал Вольтер по поводу критики Монтенем веры в чудеса, — должен целиком прочесть эту главу Монтеня («О хромых»), самого несистематичного из философов, но самого мудрого и занимательного». Не случайно А. М. Горький утверждал, что Монтень «через века пожимает руку Вольтеру».

Еще при жизни Монтеня его ближайший предшественник, мыслитель-гуманист Этьен Доле, был сожжен на костре в Париже за атеизм.

Спустя три десятилетия, во время Варфоломеевской ночи, по доносу религиозных фанатиков-мракобесов был зверски убит другой его выдающийся современник, философ Пьер де Ла-Раме.

Не прошло и десятка лет после смерти Монтеня, как инквизиторы казнили Джордано Бруно...

В жестокий и нетерпимый век, выпавший на долю Монтеня, способность сомневаться была возвышенна и редкостна. Она требовала не только ясного ума, но и немалого мужества.

Скептицизм Монтеня особый, оригинальный, напоенный светлым колоритом Возрождения. В его сомнении нет ничего от фанатически исповедуемого принципа. Этот скептицизм выражает особый склад ума, вольный строй суждений и отношения к жизни. Он не связан с дискредитацией человеческого разума, человеческих чувств, якобы неспособных к истинному контакту с миром. В нем во-

обще нет привкуса разъедающей горечи. Тонус его жизнелюбивый: «Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность»*.

Оптимизм ощущается в «Опытах» как устойчивое состояние души. Скептический склад ума легко уживается с лукавым юмором и здравым смыслом.



*„Жить
согласно
разуму...“*

Монтень отстаивает свободное и гармоничное развитие личности, задатков и свойств, которыми ее одарила природа. Он крайне насторожен ко всему, что способно нарушить эту гармонию, исказить ее лик. Он убежден, что в мире не прибавится разума и порядка от того, что каждый перестанет руководствоваться чувством меры в поведении и поступках. Человеческая жизнь, построенная здраво и достойно, — единственная гарантия общественного благополучия и процветания. «Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать битвы и завоевывать земли, а наводить порядок и устанавли-

* Кн. I, стр. 204.

вать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму. Все прочее — царствовать, накапливать богатства, строить, — все это, самое большое, дополнения и довески» *.

Монтень не хочет, чтобы «дополнения» и «дovesки» уводили человека от его истинного назначения на земле. Ему не нравится, когда заботы о будущем лишают людей возможности всерьез беспокоиться о настоящем, отвращают их взор от земных радостей и нужд. Нелепо, считает он, в ущерб тому, что даровано тебе сегодня, заботиться о том, что будет тогда, когда тебя самого уже не будет. Как истинный жизнелюб, он утверждает наслаждение настоящим в качестве наилучшего способа заботы о будущем.

В контексте современных представлений эти идеи Монтеня могут быть восприняты весьма двусмысленно: как проповедь жизнелюбия, перерастающего в своеобразный эгоизм — живи, пока живется, наслаждайся отпущенными тебе радостями и не заботься ни о чем, что будет после: тебя это все равно не коснется. Однако в идеологической атмосфере, господствовавшей во времена Монтеня, все звучало в ином ключе.

Христианский аскетизм, утверждавшийся церковью, требовал от человека сурового самоограничения во всем, что связано с жизненными радостями, так как срок, отпущенный человеку на зем-

* Кн. III, стр. 409.

ле, истолковывался как подготовка к вечной жизни на небесах. И эта подготовка будет тем успешнее, чем лучше человек сможет позаботиться о своей бессмертной душе, справиться с искушениями, уводящими его с пути служения суровым божественным начертаниям. Церковь по существу отнимала у человека полнокровную жизнь, побуждала смотреть на нее как на средство для жизни потусторонней, приносила ее в жертву будущему райскому блаженству, которое обещалось как награда за отказ от земных радостей.

С этой точки зрения трезвый, жизнелюбивый пафос Монтеня, его призыв наслаждаться полной мерой всеми благами земного существования при кажущейся беспечности и беззаботности звучал дерзким вызовом церковным идеологическим нормам.

Монтень отстаивает гармонию общественных и личных интересов и не видит пользы и нужды в том, чтобы одни приносились в жертву другим. Любые противопоставления здесь фальшивы и не заслуживают доверия. Тезис «Мы рождены не для себя, но для общества», считает он, только кажется благородным. На самом деле им часто прикрывают безудержное честолюбие и стяжательство.

Те, кто его провозглашают, часто осуществляют прямо противоположное: «... за привилегиями, должностями и прочей мирской мишурой они гонятся вовсе не ради служения обществу, а скорее ради того, чтобы извлечь из общественных

дел выгоду для себя. Бесчестные средства, с помощью которых многие в наши дни возвышаются, ясно говорят о том, что и цели также не стоят доброго слова» *.

Корысть, честолюбие, зависть, погоню за наградами, славой — все бремя страстей человеческих, которые пышно расцвели в обстановке феодальных смут, Монтень ставит на суд здравого смысла. Все искусства и соблазны, все суетные ухищрения, довлеющие над людьми, срывающие их с якоря и бросающие на волю стихий житейского моря, извлечены им на свет божий и подвергнуты придирчивому анализу. Монтень и здесь скептик. Он не бичует пороки, не обличает дурные склонности. Он стремится лишь разрушить ореол вокруг мотивов, которые обычно увлекают людей к поступкам, противоречащим чувству меры и гармонии.

Человек — хозяин своих мыслей и дел, только они ему подвластны, за них он прежде всего в ответе. Если он сумеет организовать свою жизнь, деятельность, быт, общение с окружающим на началах разума, справедливости, добра, если в замыслах и делах он будет слушаться природы, в том числе и собственной природы, — эти начала естественным образом войдут в плоть коллективной жизни. «... Кто способен представить себе, как на картине, великий облик нашей матери-природы во всем ее царственном великолепии; кто умеет читать ее бесконечно изменчивые и разнообразные

* Кн. I, стр. 298.

черты; кто ощущает себя — и не только себя, но и целое королевство — как крошечную, едва приметную крапинку в ее необъятном целом, только тот и способен оценивать вещи в соответствии с их действительными размерами. Этот огромный мир... и есть то зеркало, в которое нам нужно смотреться, дабы познать себя до конца» *.

Сам Монтень рассматривает себя в зеркале природы с тщательностью почти навязчивой. Современный читатель может воскликнуть: «Надо ставить свои привычки, жизненные правила, причуды, образ жизни, домашний обиход, хвори, черты характера слишком высоко, чтобы предлагать другим людям тратить бездну времени на столь скрупулезное знакомство с ними! Как будто нет предметов поважнее! В конце концов, какое нам дело до того, что автор любит рыбу больше, чем мясо, что пьет он обычно за едой, а не в начале ее, что ест он с большой жадностью, что, по его же словам, «и неприлично, и вредно для здоровья», что он не любит спертого воздуха, а дым для него равносильен смерти, что голос у него громкий, а зубы к старости почти все целы, что отдыхать он любит лежа или сидя, но так, чтобы ноги были выше сиденья... Все это забавно, мило, но не обязательно. Подобный стиль размышлений, — скажет такой читатель, — может быть услугой праздных ленивцев, но едва ли заслуживает

* Кн. I, стр. 201.

внимания людей с серьезными намерениями и интересами.

Ладно бы, автор писал, например, роман. Тут он вправе занимать внимание читателя описанием самых незначительных подробностей жизни героя. Форма и жанр романа рассчитаны на игру воображения, вымысел, и читателю ясно, что за всеми подробностями скрываются намерения художественного плана, выходящие за рамки описания самого по себе. Но ведь в данном случае никакого вымысла нет...»

Действительно, Монтень меньше всего преследует литературные цели, и, хотя он прекрасный стилист — язык и слог книги выше всяких похвал, — строй его размышлений не рассчитан на поэтическое восприятие.

Несмотря на то что много страниц «Опытов» Монтень посвящает описанию своих привычек, забот и т. п., самое чуткое и изощренное ухо не услышит в стиле и интонации этих описаний мотивов эгоцентризма, мещанской озабоченности желудком и кошельком, которые закрывают от человека мир природы и общечеловеческих интересов.

В разностороннем и неутолимом интересе Монтеня к свойствам своей природы звучит ликующая радость открытия. Она для него — крайне увлекательный предмет, чудесами и совершенством которого он не устает восхищаться. Человек реальный, чувственный, земной, в богатстве всех проявлений природы засверкал в эпоху Возрождения на полотнах Рафаэля и Леонардо, в поэзии Петрарки и

Ронсара, у Боккаччо и Рабле. Столь же звучно, всесторонне, объемно он раскрывается на страницах «Опытов». Монтень знакомит с ним публику крайне немудреным способом: открывает его в самом себе. Ему не требуется для этого специальных усилий, достаточно лишь быть искренним и «не становиться на ходули». С равным, наверное, успехом он мог осуществить свой замысел, взяв за образец кого-нибудь другого.

Принципиального различия здесь нет: просто себя он лучше знает.

Монтень в числе первых сбросил истлевшие одежды средневековых суеверий и предрассудков. В нем живет ощущение радости бытия, обостренная восприимчивость к удовольствиям и наслаждениям, которыми полна жизнь, а античная мудрость несет ему разумное чувство меры, потребность гармонии и общечеловеческий кругозор восприятия мира.



*„Размышлять
о смерти —
размышлять
о свободе...“*

К смерти Монтень относится свободно и про-светленно. «Подобно тому как наше рождение при-несло для нас рождение всего окружающего, так и смерть наша будет смертью всего окружающего.

Поэтому столь же нелепо оплакивать, что через сотню лет нас не будет в живых, как то, что мы не жили за сто лет перед этим» *.

Сколь бы благополучно ни складывались на поверхности отношения Монтеня с официальной церковью, подобные рассуждения далеки от христианских заповедей. Тут нет и следа страха перед бедствиями загробной жизни. Скорее наоборот: «Что пользы пятиться перед тем, от чего вам все равно не уйти? Вы видели многих, кто умер в самое время, ибо избавился благодаря этому от великих несчастий. Но видели ли вы хоть кого-нибудь, кому бы смерть причинила их?» **.

Этот взгляд на смерть Монтень осторожно вкладывает в уста природы, говорит как бы ее голосом, который ему слышится и к которому он призывает прислушаться других. Но высказывания от его собственного имени звучат вполне в духе заветов, воспринятых у природы: «Размышлять о смерти — значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь — не зло» ***.

Смерть, муки загробной жизни для Монтеня — вовсе не узда, сдерживающая порочные инстинкты человеческой природы и отвращающая ее

* Кн. I, стр. 117.

** Кн. I, стр. 119.

*** Кн. I, стр. 109.

от роковых соблазнов греха, как учила церковь. Он не верит в эту порочность. Для него смерть — одно из проявлений жизни, такое же естественное, как все другие. Он не утруждает себя размышлениями над ее мистическими тайнами. «Вдумайтесь хорошенько в то, что называют: «вечная жизнь», и вы поймете, насколько она была бы для человека более тягостной и нестерпимой, чем та, что я даровала ему. Если бы у вас не было смерти, вы без конца осыпали б меня проклятиями за то, что я вас лишила ее. Я сознательно подмешала к ней чуточку горечи, дабы, принимая во внимание доступность ее, воспрепятствовать вам слишком жадно и безрассудно устремляться навстречу ей. Чтобы привить вам ту умеренность, которой я от вас требую, а именно, чтобы вы не отвращались от жизни и вместе с тем не бежали смерти, я сделала и ту и другую наполовину сладостными и наполовину скорбными» *.

Монтень опять-таки вкладывает эти речи в уста «нашей родительницы-природы», но при этом не слишком заботится о том, чтобы усомниться в справедливости ее наставлений или что-либо противопоставить им.

У Монтеня нет трепета перед смертью, священного для средневекового аскета. Даже христиански настроенные исследователи его творчества констатируют, что противостояние смерти у Монтеня свободно и величаво, сродни беспечной улыбке, с

* Кн. I, стр. 120.

которой Дон-Жуан протягивает руку Командору: «Я приучил себя не только думать о смерти, но и говорить о ней всегда и везде... Если бы я был сочинителем книг, я составил бы сборник с описанием различных смертей, снабдив его комментариями. Кто учит людей умирать, тот учит их жить» *.

Культ человеческой природы в контексте философских рассуждений Монтеня не так прост и наивен, как может показаться на первый взгляд. По сути дела все, что Монтень передоверяет природе, он отнимает у бога. Жесткие путы, которыми традиционно в его время связывали человека — его волю, судьбу, уклад жизни, призвание, мораль, собственность, семью и пр. — с божественным промыслом, в «Опытах» разорваны. Во всех делах и поступках Монтень предлагает слушать голос природы; что же касается божеских предначертаний, то их услышать, считает он, не каждому дано и не всегда тогда, когда это требуется, и к тому же к их истолкованию следует относиться с величайшей осмотрительностью. «Люди ничему не верят так твердо, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен, — например, алхимики, астрологи, предсказатели, хироманты, врачи и все люди подобного рода. Я охотно присоединил бы сюда, если б осмелился, еще целую

* Кн. I, стр. 113.

кучу народа, а именно заправских истолкователей и проверщиков намерений божьих» *.

Монтень прямо не отрицает бога и никак не принижает его величия и могущества. Но мудрость его предначертаний он возносит столь высоко, что она оказывается несоизмеримой с будничным порядком дел на грешной земле. Негоже, считает он, взвешивать дела божьи на наших весах — они могут потерпеть от этого ущерб, и вообще нельзя позволить себе попыток утверждать бога ссылками на успех и процветание земных дел: а вдруг они примут неблагоприятный оборот?

Выводы, проистекающие из такой позиции, напрашиваются сами: если воля божья несоизмерима с укладом человеческих дел, человеку остается уповать на себя, строить жизнь на собственном страхе и риск, слушая голос разума и природы. Что же касается божественного начала, то, с точки зрения Монтеня, надлежит довольствоваться тем светом, которым оно, наподобие солнца, одаривает смертных. Тот же, кто захочет получить от бога больше, чем ему угодно даровать, пусть не сетует, если в наказание за дерзость лишится зрения.

Монтень не преступает черту, которая отделяет вольнолюбивый, раскованный строй рассуждений от атеизма, — в его времена религиозное сознание было общепризнанной и общепринятой почвой для концепций и теорий самого различного толка. И тем не менее весь характер отношений чело-

* Кн. I, стр. 273.

века к богу, который развернут на страницах «Опытов», выходит далеко за пределы канонов, утвержденных в то время церковью. Неспроста папская цензура, спохватившись через столетие после выхода «Опытов», внесла их в индекс запрещенных книг: ересь, подрыв учения изнутри, часто много опаснее прямого отрицания. Не случайно и во времена Великой французской революции в «Словаре атеистов» Монтеню отвели почетное место как одному из провозвестников радикальной критики религиозных предрассудков.

Свои отношения с общепризнанными догмами веры, официальными трактовками священного писания Монтень строит весьма вольно, перетолковывая их на свой лад, высвобождая из-под их контроля широкие сферы жизни и деятельности человека, отвоевывая позиции здравого смысла как подлинного наставника в делах и поступках. Он подвергает резкой критике все, что в религиозном сознании его времени связано с темными суевериями и мракобесием, с верой в чудеса и охотой на ведьм, с противоестественным насилием над плотью.

Монтень, например, одним из первых с поразительным мужеством запротестовал против пыток: «Многие народы... считают отвратительной жестокостью терзать и мучить человека, в преступлении которого вы еще не уверены. Чем он ответствен за ваше незнание? Разве это справедливо, что вы, не желая убивать его без основания, заставляете его испытывать то, что хуже смерти?.. Изобретение

пыток — опасное изобретение, и мне сдается, что это скорее испытание терпения, чем испытание истины» *.

Во времена Монтеня такие речи инквизиция не поощряла.

Монтень на свой лад отстаивает интересы добродетели. С позиций здравого смысла, взывая к пользе каждого, он убеждает, иллюстрируя многочисленными примерами, что честным быть лучше, чем лживым, что бережливость выгоднее жадности и скаредности, что мера, соблюденная в удовольствиях и наслаждениях, предпочтительнее порочных излишеств, что гораздо приятнее внушать любовь, чем ненависть и страх. Но он достаточно умудрен жизнью, чтобы обольщаться относительно силы этих аргументов.

В мире слишком много зла, человеческая природа неустойчива, легко поддается дурным страстям и порокам, далеко не каждый внимает голосу мудрости, вещаемой природой. Монтень видит своих соотечественников, охваченных инстинктами жестокости, фанатизма, видит братоубийственные распри, кровавые междоусобицы. Благородство и доброта, совесть и справедливость — все лучшие свойства человеческой природы теряют кредит, исчезают с поверхности жизни. И при этом самые вопиющие жестокости совершаются под флагом борьбы за истинную веру, во славу божью.

Монтень поэтому обостренно чуток ко всему,

* Кн. II, стр. 46, 47.

что разрушает гармонию человеческой нравственности, что вносит в дела и помыслы людские ханжество и цинизм.

«Мне противно бывает, когда люди трижды осеняют себя крестом во время benedicite² и столько же раз во время благодарственной молитвы, а во все остальные часы дня упражняются в ненависти, жадности и несправедливости... Порокам свой час, богу — свой; так люди словно возмещают и уравнивают одно другим» *.

Монтень вспоминает в этой связи наставления пифагорейцев, требовавших, «чтобы люди молились публично и вслух, дабы не осмеливались просить у бога о вещах недостойных и неправедных».

Известно, что в религиозном сознании моральная узда, сдерживающая человеческую природу от дурных страстей, покоится на страхе божьего гнева. Отсюда и образы геенны огненной, и адского застенка в потустороннем мире, где изобретательные садисты — черти варят грешников в кипящей смоле и подвергают всевозможным пыткам и казням.

Эти мотивы не близки Монтеню, он сыт по горло застенками, оборудованными на грешной земле не в меру ревностными служаками «истинной веры». Он расшатывает главную опору, на которой зиждется страх божьего гнева и возмездия, — идею бессмертия души. Она для него не

* Кн. I, стр. 389.

столько непререкаемый догмат, освященный церковью, сколько предмет, доступный различным толкованиям и вольному обсуждению.

Он ссылается на Аристотеля и его последователей, защищавших правдоподобие этой идеи на том основании, что без нее утратила бы всякую опору суетная надежда на славу, которая столь властно движет людскими помыслами и делами; вспоминает идею Платона о божьем возмездии за пороки, скрывшиеся от несовершенного человеческого правосудия; говорит о несбыточной потребности человеческой души продлить свое существование за отведенные судьбой пределы и подкрепить себя в том различными выдумками... Вывод звучит достаточно красноречиво: «Признаем чисто-сердечно, что бессмертие обещают нам только бог и религия; ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом. И тот, кто захочет испытать внутренние и внешние способности человека без этой божественной помощи, кто посмотрит на человека без лести, не найдет в нем ни одного качества, ни одного свойства, которые не отдавали бы тленом и смертью»*.

В контексте известных нам размышлений Монтеня о смерти как избавлении от «величайших несчастий» этот вывод — при всей внешней почтительности к божественному промыслу — звучит скорее жизнелюбиво, чем устрашающе.

По существу позиции церковной идеологии

* Кн. II, стр. 261.

в строе философских размышлений Монтеня выступают подорванными и скомпрометированными в самых глубоких основах. На словах он — почтительный сын церкви, а по существу — все, на чем держится ее власть, светская и духовная, подвергнуто сокрушительной критике.

Монтень как бы заново пересматривает традиционные и сложившиеся устои веры с позиций здравого смысла, подвергает сомнению их незыблемость. Естественно, что при такой операции они рушатся до самых основ. Поскольку вера — будь то вера в бога или в чудеса, в бессмертие души или в грядущее возмездие, — поставленная на суд разума, это и есть начало начал атеизма, его отправная позиция, Монтень своим сомнением отвоевал ее. Даже если он сам не отважился сделать все вытекающие отсюда выводы, их уже легко было сделать другим. Он одним из первых проложил путь революционному атеизму французских просветителей XVIII века и в этом смысле был истинным сыном своей переломной эпохи.

Возрождение пришло в жизнь как заря новой культуры. Ее свет рассеял сумрачные призраки средневековья, хотя во времена Монтеня они еще заявляют о себе кровавыми, жестокими кошмарами.

Монтень верит в человеческую природу. Стихийная игра ее сил — при всех жестокостях, которыми она пенится, — для него в целом источник добра и надежды на обновление мира. Он

упивается прелестями естественной жизни, радостью свободного общения, полетом мысли, уладами плоти. Мир, сбросивший оковы христианского аскетизма, засиял ему цветами радуги, пробудил к жизни силы души, ума, открыл простор наслаждениям чувств. Он меньше всего стремится обуздать его снова.

Монтень хочет, чтобы человек не чувствовал себя в мире сиротой, жил без страха и оглядки, дышал полной грудью и доверял своим естественным склонностям и порывам. Он убежден, и не устает ссылаться на собственный опыт, что это занятие — из наиболее приятных и увлекательных. Человек лишь венчает природу. И нет оснований полагать, что жизнь в гармонии с природой — дело менее достойное, чем насилие над ней.



„Учиться

у

природы...“

Культь гармонии личности, обоготворение природы объясняют оригинальное прославление первобытного уклада жизни, которое развернуто на страницах «Опытов».

Человек с безграничным кругозором знаний и интересов — таких его эпоха считала на единицы, — Монтень далек от каких бы то ни было во-

сторгов в связи с распространением цивилизации. Он убежден, что неумеренное развитие техники, торговли, новых форм общежития несет с собой утрату простоты и естественности в нравах, обычаях и укладе жизни, чревато для народа и страны духовным ущербом.

«...Нет причин, чтобы искусство хоть в чем-нибудь превзошло нашу великую и всемогущую мать-природу. Мы настолько загрузили красоту и богатство ее творений своими выдумками, что, можно сказать, едва не задушили ее. Но всюду, где она приоткрывается нашему взору в своей чистоте, она с поразительной силой посрамляет все наши тщетные и дерзкие притязания»*.

Сомнение в ценностях, что приносит цивилизация, почти столь же древне, как она сама. Историки культуры обнаруживают следы такого сомнения еще в античной философии, в пастушеских романах, в эллинской поэзии поздней поры. По мере того как техника, наука, культура глубже и основательнее проникают в жизнь, преобразуют нравы, отношения и быт людей, идеализация первобытного уклада теряет смысл. Она сохраняет ценность как некая идеальная точка отсчета тех утрат в цельности личности, ее изначальной гармонии с природой, которые предъявляются прогрессу.

Подобные настроения легко прочитываются и у Монтеня. Уклад аборигенов Нового Света

* Кн. I, стр. 261.

(в ту пору только что открытого для европейского сознания) служит ему питательной почвой для самых недвусмысленных выводов: «Вот народ... у которого нет никакой торговли, никакой письменности, никакого знакомства со счетом, никаких признаков власти или превосходства над остальными, никаких следов рабства, никакого богатства и никакой бедности, никаких наследств, никаких разделов имущества, никаких занятий, кроме праздности, никакого земледелия, никакого употребления металлов, вина или хлеба. Нет даже слов, обозначающих ложь, предательство, при творство, скупость, зависть, злословие...» *

Этот панегирик меньше всего, конечно, рассчитан на буквальное прочтение. Монтень не намерен призывать своих современников сбросить одежды, поселиться в хижинах, сменить железные бритвы на каменные, забросить земледелие и торговлю.

Да и сам Монтень, написав хвалебные строки в честь безыскусственной простоты обитателей Нового Света, не отказался от сложившихся привычек, комфорта, не распустил слуг и не покинул родового замка, чтобы окончить дни на пуховом ложе природы. Столь же трудно заподозрить его в ненависти к письменности, в презрении к науке, в восторженном прославлении невежества.

Великий предшественник Монтеня — Франсуа Рабле в своей эпопее «Гаргантюа и Пантагрю-

* Кн. I, стр. 262.

эль» создал легендарную Телемскую обитель, своеобразную общину гуманистов, в уставе которой была единственная заповедь: «Делай что хочешь». Рабле верил в творческую силу человеческой природы, в изначальное стремление людей к добродетели.

Озорная максима Рабле была вдохновлена убеждением, что рабская привычка жить по чужой указке лишь сковывает человека, мешает проявиться естественным наклонностям к добру и счастью.

Аналогичную роль играют восторженные описания обычаев Нового Света в размышлениях Монтеня. Здесь он увидел свое Телемское аббатство, возвышенный образ гармонии, явленной в натуральном виде. Он идеализирует не столько почву, еще не вспаханную цивилизацией, сколько ее плоды, в которых, как в дичках, «сохраняются в полной силе их истинные и наиболее полезные свойства и качества, тогда как в плодах, выращенных нами искусственно, мы только извратили их, приспособив к своему испорченному дурному вкусу» *.

Монтеня подкупает достоверность, невыдуманная правда этой гармонии, в ней он находит подкрепление своей критике современных нравов.

* Кн. I, стр. 261.



*„Глядеть
туда,
откуда
протягивают
руки...“*

В этом же русле разворачивается характеристика уклада жизни простых людей, крестьян, ремесленников, который Монтень наблюдает у себя в стране. «В тех уроках мужества, которые мы черпаем из книг, больше видимости, чем подлинной силы, больше красоты, чем настоящей пользы. Мы отошли от природы, которая так удачно и правильно руководила нами, и притягаем на то, чтобы учить ее. И все же кое-что из того, чему учила нас она, сохраняется, не совсем стерся у людей, чуждых нашей учености, и образ ее, отпечатлевшийся в той жизни, которую ведут сонмы простых крестьян. И ученость вынуждена постоянно заимствовать у природы, создавая для своих питомцев образцы стойкости, невинности и спокойствия» *.

Жизнь в согласии с мудрыми и совершенными законами природы, в согласии, которое достигается не волевыми усилиями, а естественно и непринужденно, Монтень резко противопоставляет суетному разуму, высокомерно порывающему с этими законами.

* Кн. III, стр. 336—337.

Он терпеть не может мертвую схоластику, надутую лжеученость, в его глазах она опаснее самого дремучего невежества. Как жить и умирать, как обращаться со своим добром, как любить и воспитывать детей, как соблюдать справедливость — в самых важных и существенных делах к ней бесполезно обращаться за помощью и советом. Монтень поверяет истинную мудрость простыми и естественными началами народной жизни, сближая их и обращая против схоластов и педантов. «Простые крестьяне — честные люди; честные люди также философы, натуры глубокие и просвещенные, обогащенные обширными познаниями в области полезных наук. Но метисы, пренебрегшие состоянием первоначального неведения всех наук и не сумевшие достигнуть второго, высшего состояния, опасны, глупы и вредны: они-то и вносят в мир смуту» *.

Монтень скромно, не притязая на лавры истинного философа, относит и себя к средней категории, но тут же добавляет, что он старается, насколько это в его силах, «вернуться к первоначальному, естественному состоянию, которое совсем напрасно пытался покинуть».

Проповедь воссоединения с природой всегда в той или иной форме рыхлит почву для пристального изучения народной жизни. Именно этим объясняется в первую очередь удивительная живучесть утопии естественной жизни, оставленной

* Кн. I, стр. 383.

Монтенем в завещание Новому времени. На протяжении последующих веков, вплоть до нашего столетия, она волновала многие выдающиеся умы. Жан-Жак Руссо искал в ней почву для обоснования идеи социального равенства; она же вдохновляла страстную моральную проповедь и жизненную программу Льва Толстого — не случайно «Опыты» на протяжении долгих лет жизни были его настольной книгой, которую он многократно читал и перечитывал и с которой не любил расставаться.

Симпатией к жизни простого народа Монтень в немалой степени обязан своему отцу, который почти от колыбели отправил его в семью кормилицы в одну из окрестных деревушек, заботясь о том, чтобы еще ребенком он научился «лучше глядеть туда, откуда к нему протягивают руки, чем туда, где ему будут поворачивать спину».

В зрелом возрасте Монтень не устает восхищаться стойкостью и силой духа, которые проявляют простолюдины в самых трудных обстоятельствах жизни. Он убедился в этом во времена скитаний по окрестным деревням, когда свирепствовала эпидемия чумы: «Целый народ за самое короткое время приучился к поведению, которое по твердости и мужеству не уступало никакой заранее обдуманной и взвешенной решимости. . .» *

* Кн. III, стр. 336.

...Взгляды Монтеня претерпевали известную эволюцию. Она нашла свое отражение и на страницах трех книг «Опытов», писавшихся в течение двух десятков лет. Первые две книги заметно отдают дань увлечению философией стоиков³. Монтень еще испытывает влияние республиканских идеалов своего друга Ла-Бюэси (дружба с ним трагически оборвалась из-за гибели Ла-Бюэси во время эпидемии чумы 1562 года), восхищается суровой красотой деяний великих мужей Рима, сочинениями римского стоика Сенеки. В этот период его занимают вопросы стоической этики, мудрого самоограничения в пользовании жизненными благами, гордого противостояния смерти, свободы духа от диктата плоти. И в народном укладе жизни в этот период его мысль ищет образцы аскетически-возвышенного поведения, которые помогли бы подкрепить стоический идеал естественными нормами человеческой природы.

В поздние годы Монтеня больше привлекает к себе жизнелюбивый дух философии Эпикура и Лукреция. Идеал эпикурейского отношения к жизни с элементами здоровой мудрости, приправленной долей лукавого скепсиса, кажется ему более объемным, щедрым, доверчиво открытым всем радостям жизни, чем суровая добродетель стоиков.

В поздних прижизненных изданиях «Опытов», переработанных и дополненных третьей книгой, обогащается и его восприятие естественных начал

народной жизни. В простых людях его покоряет прирожденное чувство достоинства, разумная мера в восприятии радости и в переживании горя, наивное доверие к жизни, не искаженное рассудочным педантизмом и мнимой образованностью. Монтень восхищается народной поэзией, гасконскими вилланелями⁴ и поэтическими произведениями народов, «не ведающих никаких наук и даже не знающих письменности». Он считает, что присущие им «свежесть и изящество» ставят их в один ряд с «поэзией, достигшей совершенства благодаря искусству».

Не боясь впасть в преувеличение, можно утверждать, что народный здравый смысл — фундамент всей грандиозной конструкции «Опытов». В опоре на него заключено не столько своеобразие личной точки зрения Монтеня, его понимания мира и человека, сколько нравственный принцип огромного гуманистического потока в истории культуры, к которому Монтень принадлежал и который носит название Возрождения.

О чем бы ни писал Монтень, в какие бы лабиринты человеческих дел и помыслов, общественных и личных, ни уводила его пытливая мысль, начала естественной народной мудрости постоянно, открываясь где-то, где-то оставаясь незримыми, в подтексте, присутствуют в качестве компаса, помогающего держать правильный курс.

Рассуждает ли он о тяготах гражданской войны, о мерзостях нравственного падения, которыми она поражает национальный характер, о невеже-

стве и рутине существующих законов, о суетных претензиях честолюбия и страсти к богатству, об отношении к смерти, о вере, о совести, справедливости, — его мысль всегда ищет истоков правды в родниках народного здравого смысла. Лишь на первый взгляд может казаться, что суждения автора выражают сугубо частный взгляд на вещи. Эту иллюзию подчеркивает незатейливая простота, с которой разматывается нить размышлений, почти нарочитое уклонение от прав на обладание истиной. Однако уже отсутствие претензий показательно. Монтень ссылается на мудрость, скрытую в человеческой природе, в ее запросах на жизнь свободную, пронизанную гармонией. Этой мудрости нет нужды претендовать на истину, она изначально ею владеет и являет ее доверчиво и без затей. Важно лишь постоянно прислушиваться к ней.

Обостренность слуха, устойчивый настрой ума и души, совести и веры у Монтеня — почти неотъемлемое свойство натуры. Начала естественной мудрости растворены в нем, в его отношении к людям, к жизни. Они проявляются без того, чтобы специально хлопотать об этом и подкреплять их ссылками и примерами. И они питают не только весь строй рассуждений Монтеня, вольнолюбивый, раскованный, непринужденный, свободный от всякой выпренности, но и придают им смысловой вес и глубину.

Он не рассуждает, например, о том, полезны или вредны войны, как к ним относиться с обще-

человеческой точки зрения, с позиций книжной истины или высокой справедливости. Кое-где на страницах книги мелькают строки о бодрящей стройности воинских рядов, о здоровом чувстве ратного братства, об относительной легкости преодоления страха смерти в сражениях. Он неравнодушен к качествам воинской доблести, ратует за воспитание их в молодом поколении и осуждает нездоровую изнеженность, проникающую в нравы. И тем не менее все это не мешает ему с пламенным гневом и искренней, неподдельной горечью осудить общенациональные бедствия гражданской войны:

«О чудовищная война! Другие войны врываются к нам извне, эту мы ведем сами против себя, калеча свое собственное тело и отравляя себя своим же ядом. По природе своей она так мерзостна и губительна, что как бы сама себя уничтожает вместе со всем прочим, сама себя раздирает в иступленной ярости... Она стремится справиться с мятежом, но мятеж в ней самой, она хочет покарать неповиновение и сама же дает пример его, ведущаяся в защиту законов — превращается в восстание против них же. К чему мы пришли? Лечебные средства наши только распространяют заразу... В этих общественных недугах поначалу еще можно разобрать, кто здоров, кто болен; но когда болезнь затягивается, как это произошло у нас, то она охватывает все тело, с головы до пят: ни один орган не остается незатронутым. Ибо нет дуновения, которое вдыхалось бы

людьми с такой жадностью, которое распространялось бы так быстро и широко, как всяческая разнузданность...

Народу пришлось тогда немало выстрадать, и не только от настоящих бедствий, но и от грядущих. Страдали живые, страдали и те, кто еще не родился. У народа — и, в частности, у меня — отнимали все, вплоть до надежды, ибо он лишился того, чем собирался жить долгие годы» *.

Речь не шла о войне народа, изнемогшего от непосильного бремени социального неравенства и поднявшегося на борьбу за свои исконные человеческие права. И тем более — не о священной защите отечества от иноземных завоевателей, вторгшихся в страну с оружием в руках. Три десятилетия Францию потрясли междоусобные войны и династические распри, в которых меньше всего, конечно, было заботы об общенародных интересах.

Гневная обвинительная проповедь Монтеня продиктована не личной озлобленностью человека, потревоженного неурядицами в уютном родовом гнезде, упустившего возможность возвыситься или нажиться в благоприятных обстоятельствах смуты. Она звучит от имени народа, вышибленного из налаженной колеи хозяйственной и семейной жизни и ввергнутого в пучину братоубийственной резни, выражает общенациональный разум и интересы. Монтень возвращает словам и

* Кн. III, стр. 327, 328, 330.

понятиям их изначальный смысл, стремится оценить трагические бедствия с позиций ясного понимания первооснов жизни и бытия.

*„Кто
рабски
следует
за другим —
ничему
не следует...“*



Защищая в свое время Монтеня от нападков со стороны церковных идеологов, Вольтер справедливо отмечал самобытный характер его мысли: «Какая вопиющая несправедливость утверждать, будто Монтень только и занимался тем, что комментировал древних авторов... Он подкрепляет свои мысли рассуждениями великих мужей древности, он судит их, спорит с ними, разговаривает с ними, со своим читателем, с самим собой. Он всегда оригинален в показе вещей, всегда блистает воображением, он всегда художник, наконец, в нем есть то, что я люблю, — он всегда умеет сомневаться. Хотел бы я знать, мог ли он заимствовать у древних авторов то, что он говорит о наших нравах, обычаях, об открытом в его время Новом Свете, о гражданских войнах, свидетелем которых он был, о фанатизме обеих боров-

шихся сторон, разорвавших в то время Францию».

Монтень — восторженный поклонник античной культуры. Если иметь в виду, что по смыслу понятия «Возрождение» духовная атмосфера этой эпохи определялась вторым рождением в свет античного мировоззрения, то в Монтене оно обрело яркого толкователя и пропагандиста. Он зачитывается римской поэзией, восторгаясь Вергилием, Катуллом, Горацием; его покоряет изящество и остроумие римских мастеров комедийного жанра Теренция и Плавта; исторические сочинения Плутарха и Письма Сенеки — его настольные книги. Уже не приходится говорить о его доскональном знакомстве с греческой философией: диалог «Аксиох», например, приписывавшийся в его времена Платону, вызывает у него отвращение как произведение слабое — и это задолго до того, как было обнаружено, что Платон не является его автором. Из современных писателей он ценит Боккаччо, Рабле, Ронсара, намного меньше — Ариосто и Тассо. Однако начитанность и эрудиция, преклонение перед великими творцами поэзии и философии никак не стесняют свободу его мысли, не парализуют творческой силы ума.

В главе «О воспитании детей» Монтень специально подчеркивает необходимость с первых шагов формировать в человеке потребность и способность к самостоятельному мышлению.

Монтень требует от наставника, чтобы тот ничего не вдавливал в голову юноше, опираясь на

свой авторитет и влияние, не превращал принципы Аристотеля, равно как и принципы стоиков или эпикурейцев, в некие неизменные основы, в ущерб свободному выбору воспитанника. Если он не способен к такому выбору, пусть лучше останется при сомнении: «только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности».

«...Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует... Нужно, чтобы он проникся духом былых мыслителей, а не заучивал их наставления... Пчелы перелетают с цветка на цветок для того, чтобы собрать мед, который, однако, есть целиком их изделие; ведь это уже больше не тимьян или майоран. Подобным же образом и то, что человек заимствует у других, будет преобразовано и переплавлено им самим, чтобы стать его собственным творением, то есть собственным его суждением. Его воспитание, его труд, его учение служит лишь одному: образовать его личность»*.

Л. Н. Толстой, восторгаясь педагогическими идеями Монтеня, видел его заслугу в том, что он «первый ясно выразил мысль о свободе воспитания».

Выпрямление всех зигзагов в человеческих мыслях и делах по естественным меркам здравого смысла и народной мудрости придает размышлениям Монтеня удивительную цельность и стройность. Античная культура усваивается им не книжно — как был усвоен Аристотель средневеко-

* Кн. I, стр. 193, 194.

выми схоластами, — а жизненно, как инструмент постижения нового бытия, разнообразия проявлений человеческой природы. Не будь этого важнейшего для судьбы его книги обстоятельства, все его выкладки остались бы праздною игрой ума, натренированного в книжном комментировании, и бесследно истаяли в веках.

Духовную атмосферу эпохи Ренессанса формировали два потока, которые счастливо слились в единое русло. Первый и главный был связан с вовлечением в активную жизнь широких слоев населения европейских стран, преимущественно из городских сословий. Жизнь сорвала с насиженных мест тысячи людей, раздвинула горизонты их знаний и опыта, привела в движение неисчислимые резервы способностей и задатков, дремавших в недрах человеческой природы. Миражи средневековья уносило ветром энергичных перемен, занималось утро нового дня, несшего бодрость и обновление.

Второй поток, связанный с возрождением духа античной культуры, пришелся удивительно впору переломному времени. Мягкий, ровный свет античной мудрости рассеивал сумрачный колорит христианского аскетизма.

Философия и поэзия древних помогали рождению нового мира, несли в необузданную, подчас варварскую игру его сил начала ритма, гармонии, меры.

Строй размышлений Монтеня отмечен печатью поздней поры Возрождения. У него уже

нет чарующей наивности предшественников — зачинателей гуманистического движения, их беспредельной веры в грядущую гармонию мира. На страницах «Опытов» культура Ренессанса не взрывается таким буйством красок, как у Рабле, щедростью и озорством в освоении новых житейских ситуаций, свойственных новеллам Боккаччо. Скепсис автора в чем-то предвещает гамлетовский склад ума, а горькие раздумья о гражданских войнах — сумрачный фон шекспировских хроник. На его житейскую мудрость ложатся тени усталости. Но силы его еще не растрчены, и доля сомнения и скепсиса не в состоянии подорвать его дух, погрузить в мрачную ипохондрию.



*„Оберегать
свободу
нашей
души...“*

Монтень — тончайший психолог и вдумчивый аналитик человеческой души. Художественные черты его дарования, отмеченные Вольтером, пожалуй, наиболее ярко проявляются там, где он исследует себя, размышляет над чертами своего характера, над жизнью и судьбой, доставшейся ему в удел.

Монтень сторонится суеты, всеобщей погони за славой, легкой наживой, искуса власти; с на-

стойчивостью, граничащей с брезгливостью, уклоняется от почестей и лавров, добываемых в сутолоке придворной службы.

«Взгляните на людей, которым свойственно вечно гореть и вмешиваться во все на свете; они делают это всегда и везде, как в малом, так и в большом, как в том, что их касается, так и в том, что их ни с какой стороны не касается; и они суются во все, что им сулит хлопоты и обязанности, и не чувствуют, что живут, если не исполнены тревоги и возбуждения... Занятость для известного сорта людей — доказательство их собственных дарований и их достоинств. Их дух успокаивает встряхивание, подобно тому как младенцев — люлька. Они могли бы себе сказать, что столь же услужливы для других, как несносны самим себе» *.

Монтеню претит жить во всеобщей толкучке, принаравливаясь к вкусам и модам двора, приспосабливаясь к поветриям времени. Подытоживая собственный опыт, он соглашается с Платоном в том, что в смутное время только чудо может спасти человека на поприще общественных дел от того, чтобы «не замарать себя самым отвратительным образом». Он настойчиво убеждает себя и других бежать от духа толпы, придворной черни, искоренять его в себе. Самая великая вещь на свете — самому владеть собой.

Воспоминания, оставленные современниками,

* Кн. III, стр. 282.

рисуют Монтеня человеком общительным, гостеприимным, живого и веселого нрава. Отмечают, что при некоторой склонности к мечтательности и меланхолии он умел не поддаваться унынию и горечи, всегда стремился истолковать все удручавшее его скорее в хорошую сторону, чем в дурную. И текст «Опытов» говорит об отсутствии в характере автора какой бы то ни было мизантропии.

Монтень расположен к людям, дорожит общением и человеческими связями, дружескими и родственными. Искусство вести беседу для него — почти ритуал, обставленный на античный манер правилами и принципами, которым он посвящает специальную главу и отводит много страниц в наставлениях юношеству. И в его стремлении к уединению нет никакой гордыни. Он заботится о цельности, гармонии своей души, о свободном и беспрепятственном проявлении свойств своей натуры. «Мое истинное призвание — общаться с людьми и созидать. Весь я обращен к внешнему миру, весь на виду и рожден для общества и для дружбы... Что же касается физического уединения, то есть пребывания в одиночестве, то оно, должен признаться, скорее раздвигает и расширяет круг моих интересов, выводя меня за пределы моего «я», и никогда я с большей охотой не погружаюсь в рассмотрение дел нашего государства и всего мира, как тогда, когда я наедине сам с собой» *.

* Кн. III, стр. 51.

В ходе столетий Новой истории сформировались и определились две противостоящие друг другу линии в трактовке этических проблем. Одна из них связывала расцвет человеческих способностей с деятельностью на общественном поприще, настаивала на том, что лишь в беззаветном служении общему благу через растворение в коллективных усилиях по переустройству мира складывается яркая и всесторонне развитая индивидуальность. Другая, напротив, подчеркивала важность естественного процесса саморазвертывания творческих сил личности вне зависимости от поверхностных и изменчивых требований общей пользы, считая, что коллективный интерес должен удовлетворяться результатами индивидуальных усилий, а не довлеть над ними, не искажать своим воздействием их направление и ход.

Эпоха Возрождения не знала такого противостояния. Должны были пройти века, прежде чем индивидуальная самодеятельность и инициатива, порвавшая патриархальные, феодальные узы и вырвавшаяся на простор, обернулась зловещими последствиями.

В XVIII веке просветители еще могли, искренне и не греша против совести, воспевать мир свободного предпринимательства и деловой активности и всеми силами прокладывать ему дорогу. Противоречия и уродства, которые они видели в повседневной практике, еще не колебали их веры в конечное торжество разумных и добрых начал в мире. Чтобы эти иллюзии развеялись, по кон-

тиненту должна была прокатиться волна буржуазных революций, должно было сложиться и окончательно оформиться общество свободной конкуренции и равных возможностей с его бесчеловечным цинизмом.

В век Монтеня масштабы этих превратностей еще не угадывались. Для него всестороннее развитие свойств человеческой природы — живой запрос времени. Его задача — раскрепостить их, освободить от оков христианского аскетизма, вывести на широкий простор.

Монтень отстаивает поправное средневековой церковью право человека на самостоятельную и независимую духовную жизнь. Он считает, что даже если душа — от бога, это не освобождает человека от необходимости самому поработать над ней, сформировать ее строй, наполнить содержанием, критически осмыслить свой жизненный опыт и опыт других людей. Как бы ни складывались обстоятельства, каждый ответствен за все, что с ним происходит в жизни, за свою судьбу. Ему надлежит строить ее сознательно, здраво, самостоятельно судить о событиях и явлениях действительности, человеческих идеях и поступках, понимать, где добро и где зло, где ложь, а где правда.

Жизнь сложна и многообразна. Нелепо думать, что в священных книгах и заветах уготованы ответы на все вопросы и ситуации. Монтень призывает не обольщаться на сей счет: каждому ведь приходится находить их своим умом. Он

убежден, что умение жить по собственному разумению и воле не дается с рождением. Оно обретается серьезными духовными усилиями, вдумчивой, сосредоточенной работой самовоспитания, размышлением, общением с людьми, расширением знаний, кругозора. И эту работу никто не в состоянии переложить на чужие плечи. Человек должен выполнять ее сам, она является источником всех богатств его духовной жизни: «Мы обладаем душой, способной общаться с собой; она в состоянии составить себе компанию; у нее есть на что нападать и от чего защищаться, что получать и чем дарить. Нам нечего опасаться, что в этом уединении мы будем коснеть в томительной праздности...» * С его точки зрения, умение построить жизнь свободно и достойно, в гармонии с природой — трудное и увлекательное искусство. Оно стоит того, чтобы приложить к нему силы, и вознаграждает сторицей.

Индивидуальная жизнь в гармоническом сочетании запросов духа и плоти для Монтеня не бегство от общественной деятельности, а защита человеческой природы от социальных превратностей, что треплут ее по ветру. Он печется о ней, как рачительный садовник. Он хочет, чтобы древо ее росло, набирало силы и приносило плоды, вместо того чтобы его обтесывали на колья и дубины. Эта жизнь концентрирует на себе все его заботы и помыслы. Сомнение, терпимость, здравый смысл

* Кн. I, стр. 302.

и разумное чувство меры воздвигаются им, как крепостной вал, призванный охранять его свободу, гармонию личности, души примерно так же, как стены родового замка защищали его жизнь от междоусобиц.

Защита прав этой жизни каждый раз выливается у него взволнованной проповедью. Верный своей манере, он ссылается на древних, вспоминает прорицание дельфийского оракула: «Всмотритесь в себя, познайте себя, ограничьтесь сами собой; ваш разум и вашу волю, растрачиваемые вами вовне, направьте, наконец, на себя; вы растекаетесь, вы разбрасываетесь; сожмитесь, сосредоточьтесь в себе; вас предают, вас отвлекают, вас похищают у вас самих. Разве ты не видишь, что этот мир устремляет свои взоры внутрь себя и его глаза созерцают лишь себя самого? Суетность — вот твой удел и в тебе самом, и вне тебя, но, заключенная в тесных границах, она менее суетна. О человек, кроме тебя одного, говорит этот бог, все сущее прежде всего познает самого себя и в соответствии со своими потребностями устанавливает пределы своим трудам и своим желаниям. И нет ни одного существа, которое было бы столь же нищим и одолеваемым нуждами, как ты, человек, жаждущий объять всю Вселенную. Ты — исследователь без знаний, повелитель без прав и, в конце концов, всего-навсего шут из фарса» *.

* Кн. III, стр. 279.

Когда несколько столетий спустя собственно-человеческие интересы извратили свойства человеческой природы, свели запросы природы к голому чистогану, поглощенность личной жизнью стала равнозначна мешанской пошлости.

Монтеню же противостояли, с одной стороны, христианские догмы, освящавшие духовную при-давленность личности, а с другой — разгул гражданских войн, затоплявших страну потоками крови. В его условиях призыв к человеку обратить взор на себя, прислушаться к голосу природы, навести порядок в своей жизни, вернуть утраченную гармонию помыслов и дел звучал как голос разума, напоминавший человеку о его призвании на земле, о его ответственности за мир, который он строит.

Личная жизнь, интересы которой отстаивал Монтень, вовсе не сводилась к мелочным интересам будничного существования, хворям, заботам о семейном благополучии, о доходах и воспитании детей. Монтень чужд всякого высокомерия по отношению к этим заботам, равно как не склонен пренебрегать и нуждами брэнного тела. Но конечные горизонты его запросов безгранично широки — вся его книга, по существу, есть летопись его духовной жизни.

Он стремится включить в кругозор личности весь мир общечеловеческих интересов и страстей. В стиле своего времени Монтень зовет не к бегству от жизни, а к духовному противоборству ее превратностям, требует от человека ее строю про-

тивопоставить свой, создать его, вобрать все веяния бытия, пронизать их светом Разума и превратить в собственное достояние.

Эпоха Возрождения формировала личность, свободную в мыслях и поступках, бесстрашно вступающую во всесторонние связи и контакты с миром. Универсализм этой личности, присущая ей гармония ушли в прошлое.

Однако прививка духовного здоровья, вкуса к личной свободе не пропала даром. Она и сегодня помогает народам, прошедшим великую школу культуры Ренессанса, в самых трагических ситуациях мировой истории сохранять себя, вставать из пепла, возрождаться к жизни.



Судьба Монтеня и его «Опытов» на протяжении истекших веков сложилась счастливо. По выходе в свет книга завоевала аудиторию сравнительно быстро и еще при жизни автора выдержала несколько изданий. Историки отмечают, что лишь первые два издания были приняты прохладно: Монтень не принадлежал к крайним партиям, что всегда препятствует скорому успеху. Однако подлинными ценителями легко распознали значение книги и вознесли автора выше знаменитых мудрецов Греции. «Опыты» приобрели популярность и

репутацию «катехизиса всех честных людей», утвержденную высшими авторитетами.

Истекшие четыре столетия мало что изменили. Библиография посвященных Монтеню работ давно перевалила за три тысячи названий — целая библиотека! — и острый интерес к нему сохранился и поныне.

Личность Монтеня, его жизнь, его философские взгляды, причудливо развернутые в «Опытах», предстают нам сегодня в пестром сплетении противоречий. Мы видим то аристократа, барина, не склонного утруждать себя подвижническим служением науке, натуру скорее созерцательную, чем деятельную, сторонящуюся бурных водоворотов жизни, а то — советника парламента Бордо и мэра города, дважды выбираемого согражданами на высокий пост в разгар междоусобиц; человека, посвятившего долгие годы сосредоточенному труду, размышлениям о жизни, истории и духовной культуре своего времени, тонкого знатока античной философии.

С одной стороны, он — сторонник законности и порядка, не склонный менять даже плохие законы из страха перед возможными осложнениями, а с другой — тонкий, язвительный критик догм и предрассудков церковной идеологии.

Монтень — страстный поборник мудрости, знания, просветитель и педагог, развивающий целостную программу воспитания гармонически развитой личности. И он же идеализирует первобытный уклад дикарей, ополчается на образование,

технику, социальные институты как на силы, подрывающие союз человека с природой.

Нам дорог Монтень — оптимист и жизнелюб, вольнодумный, лукавый скептик, разоблачавший мрак заскорузлых суеверий и предрассудков, расчищавший путь знанию, просвещению, атеизму.

Мы ценим его полнокровный стихийный материализм в понимании человека, его страстную борьбу за раскрепощение разума и чувств, отстаивание права на жизнь, пронизанную гармонией духа и плоти.

Нам и сегодня близка постоянная опора Монтеня на здравый смысл в размышлениях над сложными вопросами бытия и сознания, трезвый, земной строй его суждений, не порывающий связей с началами естественной народной мудрости.

Было бы наивным рассчитывать, что спустя четыре столетия мы, современники, можем черпать из Монтеня идеи и жизненные правила, включать их в наш духовный мировоззренческий багаж в том виде, как они были развиты и изложены автором.

Большие книги не учат и не наставляют в плоско-обыденном смысле этого слова. Идеи — не мертвый груз, которым можно загрузить человеческую память, не имущество, которое передают в наследство. Они — всегда призыв, побуждение к диалогу, они живут, умирают и возрождаются не в строках типографского шрифта, а в сознании людей, в их духовном взаимодействии.

«Опыты» — не собрание полезных советов.

Книга написана мудрецом, который читит истину, но убежден, что во всем, что касается путей к ней, их столько же, сколько человеческих судеб, и каждому предстоит найти собственный. Монтень ищет свой, приглашает читателя в попутчики, обещает ему доверие, искренность и свято держит слово.

Если в Монтене мы сегодня видим живое в соседстве с омертвевшим, мудрость и ясность, затененные предрассудками — как сословными, так и личными, — едва ли мы вправе ставить это ему в вину. Обычно свое время обгоняет тот, кто умеет отдавать ему дань.

В известном смысле противоречия взглядов и позиций Монтеня добавляют его книге жизненные силы. Мы видим в ней яркий, красноречивый документ времени, бурного, переломного, когда свет новой жизни и знания одолевают призраки прошлого и ростки будущего пробиваются вверх в окружении того, что уже отжило. Борьба этих сил наполняет и жизнь автора, и страницы его книги. Мы видим Монтеня в пути, утверждающим новое и отступающим в наезженную колею, сомневающимся и уверенным, гневным и уставшим, одушевленным и разочарованным. Борьбу идей и умонастроений эпохи Возрождения «Опыты» доносят нам трепетом пытливей, ищущей мысли. И это побуждает к творческому ее прочтению.

Идеи, суждения, взгляды всегда вплетены в

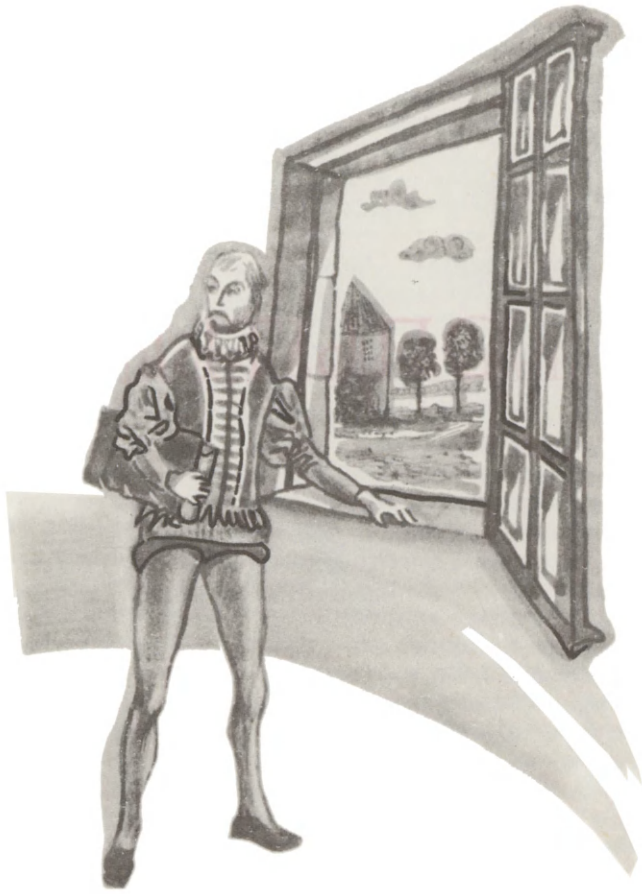
человеческую жизнь, спаяны с характером, темпераментом, душевным складом, биографией, наследственностью. Вырванные из живой среды и брошенные в исторический обиход, они подвластны переменчивым веяниям времени. Подлинные же истоки их жизни — в духовном строе личности.

Мысль Монтеня согрета плотью его природы, растворена в ней, тысячами нитей привязана к ее свойствам и чертам. Оценивать ее вне этого контекста так же бесплодно, как судить о составе морской воды по ее испарениям. В жизни человеческой души, напоенной дыханием истории и постоянно прорывающейся сквозь ее причудливую ткань, — своеобразие этой мысли, ее неповторимая прелесть.



МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ

ОПЫТЫ





то искренняя книга, читатель. Она с самого начала предупреждает тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги — доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей и благодаря этому восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне. Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо иного, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь, как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике. Если бы я жил между тех племен, которые, как говорят, и посейчас еще наслаждаются сладостной свободой изначальных законов природы, уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотой нарисовал бы себя во весь рост, и притом нагишом. Таким образом, содержание моей книги — я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Прощай же!

К
читателю

Де Монтень

Нами
чувства
устраиваются
за пределы
нашего "Я"

Те, которые вменяют людям в вину их все-гдашнее влечение к будущему, и учат хвататься за блага, даруемые нам настоящим, и ни о чем больше не помышлять, — ибо будущее еще менее в нашей власти, чем даже прошлое, — затрагивают одно из наиболее распространенных человеческих заблуждений, если только можно назвать заблуждением то, к чему толкает нас, дабы мы продолжали творить ее дело, сама природа; озабоченная в большей мере тем, чтобы мы были деятельны, чем чтобы владели истиной, она внушает нам среди многих других и эту обманчивую мечту. Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываем где-то вовне. Опасения, желания, надежды влекут к будущему; они лишают нас способности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая нас тем, что будет хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не будет. *Salamitosus est animus futurianxius*⁵.

Вот великая заповедь, которую часто приводит Платон: «Делай свое дело и познай самого себя». Каждая из обеих половин этой заповеди включает в себя и вторую половину ее и, таким образом, охватывает весь круг наших обязанностей. Всякий, кому предстоит делать дело, увидит, что прежде всего он должен познать, что он такое и на что способен. Кто достаточно знает себя, тот не почитает чужого дела своим, тот больше всего любит себя и печется о своем благе, тот отказывается от бесполезных занятий, бесплодных мыслей и неразрешимых задач...

Среди правил, определяющих наше отношение к умершим, наиболее обоснованным, на мой взгляд, является то, которое предписывает обсуждать деяния государей после их смерти. Они — собратья законов, если только не их господа. И поскольку правосудие не имело власти над ними, справедливо, чтобы оно приобрело ее над их добрым именем и наследственным достоянием их преемников, а это вещи, ценимые нами часто дороже жизни. Этот обычай приносит большую пользу народам, которые его соблюдают, а также крайне желателен для всякого доброго государя, имеющего основание жаловаться, если к его памяти относятся совсем так же, как к памяти дурных государей. Мы обязаны повиноваться и покоряться всякому, без исключения, государю, так как он имеет на это бесспорное право; но уважать и любить мы должны лишь его добродетели. Так будем же ради порядка и спокойствия в государстве терпеливо сносить недостойных меж ними, будем скрывать их пороки, будем помогать своим одобрением даже самым незначительным их начинаниям, пока их власть нуждается в нашей поддержке. Но лишь только нашим взаимоотношениям с ними приходит конец, нет никаких оснований ограничивать права справедливости и свободу выражения наших истинных чувств, отнимая тем самым у добрых подданных славу верных и почтительных слуг государя, чьи недостатки были им так хорошо известны, и лишая потомство столь поучительного примера...

И действительно, лживость — постыдный порок. Только слово делает нас людьми, только слово дает возможность общаться между собой. И если бы мы сознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы его сожжением на костре с большим основанием, чем что-либо другое. Я нахожу, что детей очень часто наказывают за сущие пустяки, можно сказать, ни за что; что их карают за проступки, совершенные по неведению и неразумию и не влекущие за собой никаких последствий. Одна только лживость и, пожалуй, в несколько меньшей мере упрямство кажутся мне теми из детских пороков, с зарождением и укоренением которых следует неуклонно и беспощадно бороться. Они возрастают вместе с людьми. И как только язык свернул на путь лжи, прямо удивительно, до чего трудно вернуть его к правде! От этого и происходит, что мы встречаем людей, в других отношениях вполне честных и добропорядочных, но объятых и поработанных этим пороком. У меня есть портной, вообще говоря, славный малый, но ни разу не слышал я от него хотя бы словечка правды, и притом даже тогда, когда она могла бы доставить ему только выгоду.

Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше положение было бы значительно легче. Мы считали бы в таком случае достоверным противоположное тому, что говорит лжец. Но противоположность истине обладает сотней тысяч облиций и не имеет пределов.



Пифагорейцы считают, что благо определено и ограничено, тогда как зло неопределенно и неограниченно. Тысячи путей уводят от цели, и лишь один-единственный ведет к ней. И я вовсе не убежден, что даже ради предотвращения грозящей мне величайшей беды я мог бы заставить себя воспользоваться явной и беззастенчивой ложью.

Один из отцов церкви сказал, что мы чувствуем себя лучше в обществе знакомой собаки, чем с человеком, язык которого нам не знаком: *Ut externus alieno non sit hominis vice*⁶. Но насколько же лживый язык как средство общения хуже молчания!..

А юдей, как гласит одно древнегреческое изречение, мучают не самые вещи, а представления, которые они создали себе о них⁷. И если бы кто-нибудь мог установить, что это справедливо всегда и везде, он сделал бы чрезвычайно много для облегчения нашей жалкой человеческой участи. Ведь если страдания и впрямь порождаются в нас нашим рассудком, то, казалось бы, в нашей власти либо вовсе пренебречь ими, либо обратить их во благо. Если вещи отдают себя в наше распоряжение, то почему бы не подчинить их себе до конца и не приспособить к нашей собственной выгоде? И если то, что мы называем злом и мучением, не есть само по себе ни зло, ни мучение и только наше воображение наделяет его

*Оттом,
что нами
воспринимая
блага и зла
в значительном
мере
забывают от
представления,
которое мы
имеем о них*

подобной окраской, то не кто иной, как мы сами, можем изменить ее на другую. Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы тем не менее проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму. Итак, давайте посмотрим, можно ли доказать, что то, что мы зовем злом, не является само по себе таковым, или, по крайней мере, чем бы оно ни являлось, — что от нас самих зависит придать ему другой привкус и другой облик, ибо все, в конце концов, сводится к этому.

Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех равным и тождественным образом, ибо все люди — одной породы и все они снабжены в большей или меньшей степени одинаковыми способностями и средствами познания и суждения. Однако различие в представлениях об одних и тех же вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, что эти представления вселяются в нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями; кто-нибудь, быть может, и воспринимает их по счастливой случайности в согласии с их подлинной сущностью, но тысяча про-



чих видит в них совершенно иную, непохожую сущность.

Мы смотрим на смерть, нищету и страдание как на наших злейших врагов. Но кто же не знает, что та самая смерть, которую одни зовут ужаснейшей из всех ужасных вещей, для других — единственное прибежище от тревог здешней жизни, высшее благо, источник нашей свободы, полное и окончательное освобождение от всех бедствий? И в то время, как одни в страхе и трепете ожидают ее приближения, другие видят в ней больше радости, нежели в жизни. . .

А сколько мы знаем людей из народа, которые перед лицом смерти, и притом не простой и легкой, но сопряженной с тяжким позором, а иногда и с ужаснейшими мучениями, сохраняли такое присутствие духа — кто из упрямства, а кто и по простоте душевной, — что в них не замечалось никакой перемены по сравнению с обычным их состоянием. Они отдавали распоряжения относительно своих домашних дел, прощались с друзьями, пели, обращались с назидательными и иного рода речами к народу, примешивая к ним иногда даже шутки, и, совсем как Сократ, пили за здоровье своих друзей. Один из них, когда его вели на виселицу, заявил, что не следует идти этой улицей, так как он может встретиться с лавочником, который схватит его за шиворот: за ним есть старый должок. Другой просил палача не прикасаться к его шее,

чтобы он не затрясся от смеха, до такой степени он боится щекотки. Третий ответил духовнику, который сулил ему, что уже вечером он разделит трапезу с нашим спасителем: «В таком случае, отправляйтесь-ка туда сами; что до меня, то я нынче пощусь»...

Я весьма одобряю также поведение одного пожилого прелата⁸, который полностью освободил себя от забот о своем кошельке, о своих доходах и тратах, поручая их то одному из своих доверенных слуг, то другому, и провел долгие годы в таком неведении относительно состояния своих дел, словно он был во всем этом лицом посторонним. Доверие к добропорядочности другого является достаточно веским свидетельством собственной, и ему обычно покровительствует бог. Что касается упомянутого мною прелата, то нигде я не видел такого порядка, как у него в доме, как нигде больше не видел, чтобы хозяйство поддерживалось с таким достоинством и такой твердой рукой. Счастлив тот, кто сумел с такою точностью соразмерять свои нужды, что его средства оказываются достаточными для удовлетворения их без каких-либо хлопот и стараний с его стороны. Счастлив тот, кого забота об управлении имуществом или о его приумножении не отрывает от других занятий, более соответствующих складу его характера, более спокойных и приятных ему.

Итак, и довольство и бедность зависят от пред-

ставления, которое мы имеем о них: сходным образом и богатство, равно как и слава или здоровье прекрасны и привлекательны лишь настолько, насколько таковыми находят их те, кто пользуется ими. Каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает. Доволен не тот, кого другие мнят довольным, а тот, кто сам мнит себя таковым. И вообще, истинным и существенным тут можно считать лишь собственное мнение данного человека...

Судьба не приносит нам ни зла, ни добра, она поставляет лишь сырую материю того и другого и способное оплодотворить эту материю семя. Наша душа, более могущественная в этом отношении, чем судьба, использует и применяет их по своему усмотрению, являясь, таким образом, единственной причиной и распорядительницей своего счастливого или бедственного состояния...

Я слышал как-то от одного принца и весьма крупного полководца, что нельзя осуждать на смерть солдата за малодушие; это мнение было высказано им за столом, после того как ему рассказали о суде над господином де Вервеном, приговоренным к смерти за сдачу Булони⁹.

И в самом деле, я нахожу вполне правильным, что проводят отчетливую границу между проступками, проистекающими от нашей слабости, и теми, которые порождены злонамеренностью. Совершая

*О наказании
За
трусость*

последние, мы сознательно восстаем против велений нашего разума, запечатленных в нас самою природою, тогда как, совершая первые, мы имели бы основание, думается мне, сослаться на ту же природу, которая создала нас столь немощными и несовершенными; вот почему весьма многие полагают, что нам можно вменить в вину только содеянное нами вопреки совести. На этом и основано в известной мере как мнение тех, кто осуждает смертную казнь для еретиков и неверующих, так и правило, согласно которому адвокат и судья не могут привлекаться к ответственности за промахи, допущенные по неведению при отправлении ими должности.

Что касается трусости, то, как известно, наиболее распространенный способ ее наказания — это всеобщее презрение и поношение. Считают, что подобное наказание ввел впервые в употребление законодатель Харонд¹⁰ и что до него всякого бежавшего с поля сражения греческие законы карали смертью; он же приказал вместо этого выставлять таких беглецов на три дня в женском платье на городской площади, надеясь, что это может послужить им на пользу и что бесчестие возвратит им мужество...



... **Н**е следует считать человека счастливым —
разумая под счастьем спокойствие и удов-
летворенность благородного духа, а также
твердость и уверенность умеющей управлять со-
бою души, — пока нам не доведется увидеть, как
он разыграл последний и несомненно наиболее
трудный акт той пьесы, которая выпала на его
долю. Во всем прочем возможна личина. Наши
превосходные философские рассуждения сплошь и
рядом не более, как заученный урок, и всякие жи-
тейские неприятности очень часто, не задевая нас
за живое, оставляют нам возможность сохранять
на лице полнейшее спокойствие. Но в этой послед-
ней схватке между смертью и нами нет больше
места притворству: приходится говорить начистоту
и показать наконец без утайки, что за яства в тво-
ем горшке...

*От том,
что нельзя
судить,
счастливы ли
кто-нибудь,
пока он
не умрет*

Вот почему это последнее испытание — оконча-
тельная проверка и пробный камень всего того, что
совершено нами в жизни. Этот день — верховный
день, судья всех остальных наших дней. Этот день,
говорит один древний автор¹¹, судит все мои
прошлые годы. Смерти предоставляю я оценить
плоды моей деятельности, и тогда станет ясно,
исходили ли мои речи только из уст или также из
сердца.

*Оттом,
то философ-
твовать-
это значит
узнать
умирать*

Цицерон говорит, что философствовать — это не что иное, как приуготовлять себя к смерти. И это тем более, что исследование и размышление влекут нашу душу за пределы нашего бренного «я», отрывают ее от тела, а это и есть некое предвосхищение и подобие смерти; короче говоря, вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся, в конечном итоге, к тому, чтобы научить нас не бояться смерти. И в самом деле, либо наш разум смеется над нами, либо, если это не так, он должен стремиться только к одной-единственной цели, а именно — обеспечить нам удовлетворение наших желаний, и вся его деятельность должна быть направлена лишь на то, чтобы доставить нам возможность хорошо жить и в свое удовольствие, как сказано в священном писании. Все в этом мире твердо убеждены, что наша конечная цель — удовольствие, и спор идет лишь о том, каким образом достигнуть его; противоположное мнение было бы тотчас отвергнуто, ибо кто стал бы слушать того, кто вздумал бы утверждать, что цель наших усилий — наши бедствия и страдания?

Разногласия между философскими школами в этом случае — чисто словесные. . .

Здесь больше упрямства и препирательства по мелочам, чем подобало бы людям такого возвышенного призвания. Впрочем, кого бы ни взялся изображать человек, он всегда играет вместе с тем и себя самого. Что бы ни говорили, но даже в самой добродетели конечная цель — наслаждение. Мне

нравится дразнить этим словом слух некоторых лиц, кому оно очень не по душе. И когда оно действительно обозначает высшую степень удовольствия и полнейшую удовлетворенность, подобное наслаждение в большей мере обязано этим содействию добродетели, чем чего-либо иного. Становясь более живым, острым, сильным и мужественным, оно делается от этого лишь более сладостным. . .

Нужно, чтобы сапоги были всегда на тебе, нужно, насколько это зависит от нас, быть постоянно готовыми к походу и в особенности остерегаться, как бы в час выступления мы не оказались во власти других забот, кроме как о себе. . .

Ведь забот у нас и без того вволю. Один сетует не столько даже на самую смерть, сколько на то, что она помешает ему закончить с блестящим успехом начатое дело; другой — что приходится переселяться на тот свет, не успев устроить замужество дочери или проследить за образованием детей; этот оплакивает разлуку с женой, тот — с сыном, так как в них была отрада всей его жизни.

Что до меня, то я, благодарение богу, могу в данное время убраться отсюда, когда ему будет угодно, не печалюсь ни о чем, кроме самой жизни, если уход из нее будет для меня тягостен. Я свободен от всяких пут; я наполовину уже распрощался со всеми, кроме себя самого. Никогда еще не было человека, который был бы так всесторон-

не и тщательно подготовлен к тому, чтобы уйти из этого мира, человека, который отрешился бы от него так окончательно, как, надеюсь, это удалось сделать мне...

Я хочу, чтобы люди действовали, чтобы они выполняли налагаемые на них жизнью обязанности со всей полнотою, насколько это возможно, чтобы смерть застигла меня за посадкой капусты, но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней, и тем более к моему не до конца возделанному огороду. Мне довелось видеть одного умирающего, который, уже перед самой кончиной, не переставал выражать сожаление, что злая судьба оборвала нить составляемой им истории на пятнадцатом или шестнадцатом из наших королей...

Нужно избавиться от этих пошлых и гибельных настроений. И подобно тому, как наши кладбища расположены возле церквей или в наиболее посещаемых местах города, дабы приучить, как сказал Ликург¹², детей, женщин и простолюдинов не пугаться при виде покойников, а также чтобы человеческие останки, могилы и похороны, наблюдаемые нами изо дня в день, постоянно напоминали об ожидающей нас судьбе... подобно также тому, как египтяне по окончании пира показывали присутствующим огромное изображение смерти, причем державший его восклицал: «Пей и наполним сердце, ибо, когда умрешь, ты будешь таким же», так и я приучил себя не только

думать о смерти, но и говорить о ней всегда и везде. И нет ничего, что в большей мере привлекало б меня, чем рассказы о смерти такого-то или такого-то, что́ они говорили при этом, каковы были их лица, как они держали себя; это же относится и к сочинениям по истории, в которых я особенно внимательно изучаю места, где говорится о том же. . .

Ничто не влекло людей к нашей религии более, чем заложенное в ней презрение к жизни. И не только голос разума призывает нас к этому, говоря: стоит ли бояться потерять нечто такое, потеря чего уже не сможет вызвать в нас сожаления? — но и такое соображение: раз нам угрожают столь многие виды смерти, не тягостнее ли страшиться их всех, чем претерпеть какой-либо один? И раз смерть неизбежна, не все ли равно, когда она явится? Тому, кто сказал Сократу: «Тридцать тиранов осудили тебя на смерть», последний ответил: «А их осудила на смерть природа»¹³.

Какая бессмыслица огорчаться из-за перехода туда, где мы избавимся от каких бы то ни было огорчений!

Подобно тому как наше рождение принесло для нас рождение всего окружающего, так и смерть наша будет смертью всего окружающего.

... Смерть одного есть начало жизни другого. Точно так же плакали мы, таких же усилий стоило

нам вступить в эту жизнь и так же, вступая в нее, срывали мы с себя свою прежнюю оболочку.

Не может быть тягостным то, что происходит один-единственный раз. Имеет ли смысл трепетать столь долгое время перед столь быстротечной вещью? Долго ли жить, мало ли жить, не все ли равно, раз и то и другое кончается смертью? Ибо для того, что больше не существует, нет ни долгого, ни короткого. Аристотель рассказывает, что на реке Гипанис обитают крошечные насекомые, живущие не дольше одного дня. Те из них, которые умирают в восемь часов утра, умирают совсем юными; умирающие в пять часов дня умирают в преклонном возрасте. Кто же из нас не рассмеялся бы, если б при нем назвали тех и других счастливыми или несчастными, учитывая срок их жизни? Почти то же и с нашим веком, если мы сравним его с вечностью или с продолжительностью существования гор, рек, небесных светил, деревьев и даже некоторых животных¹⁴.

Всякое прожитое вами мгновение вы похищаете у жизни: оно прожито вами за ее счет. Непрерывное занятие всей вашей жизни — это возвращать смерть. Пребывая в жизни, вы пребываете в смерти, ибо смерть отстанет от вас не раньше, чем вы покинете жизнь.

Или, если угодно, вы становитесь мертвыми, прожив свою жизнь, но проживаете вы ее умирая; смерть, разумеется, несравненно сильнее поражает

умирающего, нежели мертвого, гораздо острее и глубже...

«... Я внушила Фалесу, первому из наших мудрецов, ту мысль, что жить и умирать — это одно и то же. И когда кто-то спросил его, почему же, в таком случае, он все-таки не умирает, он весьма мудро ответил: «Именно потому, что это одно и то же».

Вода, земля, воздух, огонь и другое, из чего сложено мое здание, суть в такой же мере орудия твоей жизни, как и орудия твоей смерти. К чему страшиться тебе последнего дня? Он лишь в такой же мере способствует твоей смерти, как и все прочее. Последний шаг не есть причина усталости, он лишь дает ее почувствовать. Все дни твоей жизни ведут тебя к смерти; последний только подводит к ней».

Таковы благие наставления нашей родительницы — природы. Я часто задумывался над тем, почему смерть на войне — все равно, касается ли это нас самих или кого-либо иного, — кажется нам несравненно менее страшной, чем у себя дома; в противном случае армия состояла бы из одних плакса да врачей; и еще: почему, несмотря на то что смерть везде и всюду все та же, крестьяне и люди низкого звания относятся к ней много проще, чем все остальные? Я полагаю, что тут дело в печальных лицах и устрашающей обстановке, среди которых мы ее видим и которые порождают в нас

страх еще больший, чем сама смерть. Какая новая, совсем необычная картина: стоны и рыдания матери, жены, детей, растерянные и смущенные посетители, услуги многочисленной челяди, их заплаканные и бледные лица, комната, в которую не допускается дневной свет, зажженные свечи, врачи и священники у нашего изголовья! Короче говоря, вокруг нас ничего, кроме испуга и ужаса. Мы уже заживо облачены в саван и преданы погребению. Дети боятся своих юных приятелей, когда видят их в маске, — то же происходит и с нами. Нужно сорвать эту маску как с вещи, так, тем более, с человека, и когда она будет сорвана, мы обнаружим под ней ту же самую смерть, которую незадолго перед этим наш старый камердинер или служанка претерпели без всякого страха. Благодатна смерть, не давшая времени для этих пышных приготовлений. . .

Вполне вероятно, что вера в чудеса, видения, колдовство и иные необыкновенные вещи имеет своим источником главным образом воображение, воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных, поскольку они податливее других. Из них настолько вышибли способность здраво судить, воспользовавшись их легковерием, что им кажется, будто они видят то, чего на деле вовсе не видят. . .

При изучении наших нравов и побуждений, чем

*О силе
нашего
воображения*

я, собственно, и занимаюсь, свидетельства, почерпнутые из вымысла, так же пригодны, как подлинны, при условии, что они не противоречат возможному. Произошло ли это в действительности или нет, случилось ли это в Париже или в Риме, с Жаном или Пьером, — вполне безразлично, лишь бы дело шло о той или иной способности человека, которую я с пользою для себя подметил в рассказе. Я ее вижу и извлекаю из нее выгоду независимо от того, принадлежит ли она теням или живым людям. И из различных уроков, заключенных нередко в подобных историях, я использую для своих целей лишь наиболее необычные и поучительные. Есть писатели, ставящие себе задачей изображать действительные события. Моя же задача — лишь бы я был в состоянии справиться с нею — в том, чтобы изображать вещи, которые могли бы произойти. Школьной премудрости разрешается — да иначе и быть не могло бы — усматривать сходство между вещами даже тогда, когда на деле его вовсе и нет. Я же ничего такого не делаю и в этом отношении превосхожу свою дотошностью самого строгого историка...

Некоторые уговаривают меня¹⁵ описать события моего времени; они основываются на том, что мой взор менее затуманен страстями, чем чей бы то ни было, а также, что я ближе к этим событиям, чем кто-либо другой, ибо судьба доставила мне возможность общаться с вождями различных партий. Но они упускают из виду, что я не взял бы на себя этой задачи за всю славу Саллюстия¹⁶,

что я заклятый враг всяческих обязательств, усидчивости, настойчивости; что нет ничего столь противоречащего моему стилю, как пространное повествование; что я постоянно сам себя прерываю, потому что у меня не хватает дыхания; что я не обладаю способностью стройно и ясно что-либо излагать; что я превосхожу, наконец, даже малых детей своим невежеством по части самых обыкновенных, употребляемых в повседневном быту фраз и оборотов. И все же я решился высказать здесь, приспособляя содержание к своим силам, то, что я умею сказать. Если бы я взял кого-нибудь в поводыри, мои шаги едва ли совпадали б с его шагами. И если бы я был волен располагать своей волей, я предал бы гласности рассуждения, которые и на мой собственный взгляд, и в соответствии с требованиями разума были бы противозаконными и подлежали бы наказанию¹⁷. Плутарх мог бы сказать о написанном им, что забота о достоверности, всегда и во всем, тех примеров, к которым он обращается, — не его дело; а вот чтобы они были назидательны для потомства и являлись как бы факелом, озаряющим путь к добродетели, — это действительно было его заботой. Предание древности — не то что какое-нибудь врачебное снадобье; здесь не представляет опасности, составлены ли они так или этак...



ПЛУТАРХ



демад¹⁸, афинянин, осудил одного из своих сограждан, торговавшего всем необходимым для погребения, основываясь на том, что тот стремился к слишком большой выгоде, достигнуть которой можно было бы не иначе, как ценою смерти очень многих людей. Этот приговор кажется мне необоснованным, ибо, вообще говоря, нет такой выгоды, которая не была бы связана с ущербом для других; и потому, если рассуждать, как Демад, следовало бы осудить любой заработок.

*Выгода
одного -
ущерб
для другого*

Купец наживается на мотовстве молодежи; земледелец — благодаря высокой цене на хлеб; строитель — вследствие того, что здания приходят в упадок и разрушаются; судейские — на ссорах и тяжбах между людьми; священники (даже они!) обязаны как почетом, которым их окружают, так и самой своей деятельностью нашей смерти и нашим порокам. Ни один врач, говорится в одной греческой комедии, не радуется здоровью даже самых близких своих друзей, ни один солдат — тому, что его родной город в мире со своими соседями, и так далее. Да что там! Покопайся каждый из нас хорошенько в себе, и он обнаружит, что самые сокровенные его желания и надежды возникают и питаются по большей части за счет кого-нибудь другого.

Когда я размышлял об этом, мне пришло в голову, что природа и здесь верна установленному

ею порядку, ибо, как полагают естествоиспытатели, зарождение, питание и рост каждой вещи есть в то же время разрушение и гибель другой...

... **Я** нахожу, что все крупнейшие наши пороки зарождаются с самого нежного возраста и что наше воспитание зависит главным образом от наших кормилиц и нянюшек. Для матерей нередко бывает забавою смотреть, как их сыночек сворачивает шею цыпленку и потешается, мучая кошку или собаку. А иной отец бывает до такой степени безрассуден, что, видя, как его сын ни за что ни про что колотит беззащитного крестьянина или слугу, усматривает в этом доброе предзнаменование воинственности его характера, или, наблюдая, как тот же сынок одурачивает, прибегая к обману и вероломству, своего приятеля, видит в этом проявление присущего ему остроумия. В действительности, однако, это не что иное, как семена и корни жестокости, необузданности, предательства; именно тут они пускают свой первый росток, который впоследствии дает столь буйную поросль и закрепляется в силу привычки. И обыкновение извинять эти отвратительные наклонности легкомыслием, свойственным юности, и незначительностью проступков весьма и весьма опасно. Во-первых, тут слышится голос самой природы, который более звонок и чист, пока он не успел огрубеть; во-вторых, разве мошенничество становится менее гад-

*О привычке,
а также о том,
что не по-
добает без
достаточных
оснований
менять
укоренившиеся
законы*

ким от того, что речь идет о нескольких су, а не о нескольких эю? Оно гадко само по себе. Я нахожу гораздо более правильным сделать следующий вывод: «Почему такому-то не обмануть на целое эю, коль скоро он обманывает на одно су?» — вместо обычных рассуждений на этот счет: «Ведь он обманул только на одно су; ему и в голову не пришло бы обмануть на целое эю». Нужно настойчиво учить детей ненавидеть пороки как таковые; нужно, чтобы они воочию видели, насколько эти пороки уродливы, и избегали их не только в делах своих, но и в сердце своем; нужно, чтобы самая мысль о них, какую бы личину они ни носили, была ненавистна им. Я убежден, что, если и посейчас еще, даже в самой пустячной забаве, я испытываю крайнее отвращение к обманам всякого рода, что является внутренней моей потребностью и следствием естественных моих склонностей, а не чем-то требующим усилий, то причина этого в том, что меня приучили с самого детства ходить только прямой и открытой дорогой, гнушаясь в играх со сверстниками (здесь кстати отметить, что игры детей — вовсе не игры и что правильное смотреть на них как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста) каких бы то ни было плутней и хитростей. Играя в карты на дубли, я рассчитываюсь с такою же щепетильностью, как если бы играл на двойные дублоны¹⁹, тогда, когда проигрыш и выигрыш, в сущности, для меня безразличны, поскольку я играю с женою и дочерью, и тогда, когда я смотрю

на дело иначе. Во всем и везде мне достаточно своих собственных глаз, дабы исполнить, как подобает, мой долг, и нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально и к которой я питал бы большее уважение. . .

Кто пожелает отделаться от всесильных предрассудков обычая, тот обнаружит немало вещей, которые как будто и не вызывают сомнений, но вместе с тем и не имеют иной опоры, как только морщины и седина давно укоренившихся представлений. Сорвав же с подобных вещей эту личину и сопоставив их с истиною и разумом, такой человек почувствует, что, хотя прежние суждения его и полетели кувырком, все же почва под ногами у него стала тверже. И тогда, например, я спрошу у него: возможно ли что-нибудь более удивительное, чем то, что мы постоянно видим перед собой, а именно, что целый народ должен подчиняться законам, которые были всегда загадкой для него, что во всех своих семейных делах, браках, дарственных, завещаниях, в купле, в продаже он связан правилами, которых не в состоянии знать, поскольку они составлены и опубликованы не на его языке, вследствие чего истолкование и должное применение их он принужден покупать за деньги?²⁰ Все это ни в малой степени не похоже на остроумное предложение Исократ²¹, советующего своему государю обеспечить возможность подданным свободно, прибыльно и беспрепятственно торговать, но вместе

с тем сделать для них разорительными, обложив высокой пошлиной, ссоры и распри, но вполне согласуется с теми чудовищными воззрениями, согласно которым даже человеческий разум и тот является предметом торговли, а законы — рыночным товаром. И я бесконечно благодарен судьбе, что первым, как сообщают наши историки, кто воспротивился намерению Карла Великого ввести у нас римское и имперское право, был некий дворянин из Гаскони, мой земляк²². Есть ли что-нибудь более дикое, чем видеть народ, у которого на основании освященного законом обычая судебные должности продаются²³, а приговоры оплачиваются звонкой монетой; где опять-таки совершенно законно отказывают в правосудии тем, кому нечем заплатить за него; где эта торговля приобретает такие размеры, что создает в государстве в добавление к трем прежним сословиям — церкви, дворянству и простому народу — еще и четвертое, состоящее из тех, в чьем ведении находится суд; это последнее, имея попечение о законах и самовластно распоряжаясь жизнью и имуществом граждан, является наряду с дворянством некоей обособленной корпорацией. Отсюда и возникает два рода законов, противоречащих во многом друг другу: законы чести и те, на которых покоится правосудие. Первые, например, сурово осуждают того, кто, будучи обвинен во лжи, стерпит подобное обвинение, тогда как вторые — отмщающего за него. По законам рыцарского оружия такой-то, если снесет оскорбление, лишается чести и дворянского

достоинства, тогда как по гражданским законам тот, кто мстит, подлежит уголовному наказанию. Значит, тот, кто обратится к закону, дабы защитить свою оскорбленную честь, обезщетивает себя, а кто не обратится к нему, того закон преследует и карает...

Обществу нет ни малейшего дела до наших воззрений; но все остальное, как-то: нашу деятельность, наши труды, наше состояние и самую жизнь, надлежит предоставить ему на службу, а также на суд, как поступил этот чудесный и великий Сократ, отказавшийся спасти свою жизнь лишь на том основании, что это явилось бы неповиновением власти, пусть даже весьма несправедливой и пристрастной. Ибо правило правил и главнейший закон законов заключается в том, что всякий обязан повиноваться законам страны, в которой живет...

Весьма сомнительно, может ли изменение действующего закона, каков бы он ни был, принести столь очевидную пользу, чтобы перевесить то зло, которое возникает, если его потревожить; ведь государство можно в некоторых отношениях уподобить строению, сложенному из отдельных, связанных между собою частей, вследствие чего нельзя хоть немного поколебать даже одну среди них без того, чтобы это не отразилось на целом. Законодатель фурийцев²⁴ велел, чтобы всякий стремящийся уничтожить какой-нибудь из старых законов или ввести в действие новый выходил пред народом с веревкой на шее, с тем чтобы, если предлагаемое им новшество не найдет единогласного

одобрения, быть удушенным тут же на месте. А законодатель лакедемонян²⁵ посвятил всю свою жизнь тому, чтобы добиться от сограждан твердого обещания не отменять ни одного из его предписаний. Эфор, так безжалостно оборвавший две новые струны, добавленные Фринисом к его музыкальному инструменту²⁶, не задавался вопросом, улучшил ли Фринис свой инструмент и обогатил ли его аккорды; для осуждения этого новшества ему было достаточно и того, что старый, привычный образец претерпел изменение; то же знаменовал собой и древний заржавленный меч правосудия, который бережно хранился в Марселе²⁷.

Я разочаровался во всяческих новшествах, в каком бы облики они нам ни являлись, и имею все основания для этого, ибо видел, сколь губительные последствия они вызывают. То из них, которое угнетает нас в течение уже стольких лет, не было, правда, непосредственной причиной всего происшедшего; но тем не менее можно с уверенностью сказать, что именно в нем, в силу несчастного стечения обстоятельств, первопричина и корень всего, даже тех бедствий и ужасов, которые творятся с тех пор без и помимо его участия²⁸. Пусть оно пеняет поэтому на себя самого.

Те, кто расшатывают государственный строй, первыми чаще всего и гибнут при его разрушении. Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал; он только всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие. Так как целость

и единство нашей монархии были нарушены упомянутым новшеством, и ее величественное здание расшаталось и начало разрушаться, и так как это произошло к тому же в ее преклонные годы, в ней образовалось сколько угодно трещин и брешей, представляющих собою как бы ворота для названных бедствий. Величие государя, говорит некий древний писатель, труднее низвести от его вершины до половины, чем низвергнуть от половины до основания.

Но если зачинатели и приносят больше вреда, нежели подражатели, то последние все же преступнее первых, ибо они следуют образцам, зло и ужас которых с такой силой ощутили и в свое время покарали²⁹. И если даже злодеяния приносят известную долю славы, то у первых перед вторыми то преимущество, что самый замысел и дерзость почина принадлежат именно им.

Все виды новейших бесчинств с легкостью черпают образцы и наставления, как потрясать государственный строй, из этого главного и неиссякаемого источника. Даже в наших законах, созданных с целью пресечения этого изначального зла, и то можно найти наставления, как творить злодеяния всякого рода, и попытки оправдания их. С нами происходит теперь то самое, о чем говорит Фукидид, повествуя о гражданских войнах своего времени; тогда, угождая порокам общества и пытаясь найти для них оправдание, давали им не их подлинные названия, но, искажая и смягчая последние, окрещивали словами новыми и менее рез-

кими. И таким-то способом хотят подействовать на нашу совесть и исправить наши взгляды!

Христианская религия обладает всеми признаками наиболее справедливого и полезного вероучения, но ничто не свидетельствует об этом в такой мере, как выраженное в ней с полной определенностью требование повиноваться властям и поддерживать существующий государственный строй. Какой поразительный пример оставила нам премудрость господня, которая, стремясь спасти род человеческий и осуществить свою славную победу над смертью и над грехом, пожелала свершить это не иначе, как опираясь на наше общественное устройство и поставив достижение и осуществление этой великой и благой цели в зависимость от слепоты и несправедности наших обычаев и воззрений, допустив равным образом, чтобы лилась невинная кровь столь многих возлюбленных чад ее и мирясь с потерей длинной чреды годов, пока не созреет этот бесценный плод.

Между подчиняющимся обычаям и законам своей страны и тем, кто норовит подняться над ними и сменить их на новые, — целая пропасть. Первый ссылается в свое оправдание на простосердечие, покорность, а также на пример других; что бы ни довелось ему сделать, это не будет намеренным злом, в худшем случае — лишь несчастием... Сверх того, как говорит Исократ, недобор ближе к умеренности, чем перебор. Второй оправдывать гораздо труднее.



Ибо кто берется выбирать и вносить изменения, тот присваивает себе право судить и должен поэтому быть твердо уверен в ошибочности отменяемого им и в полезности им вводимого. Это столь нехитрое соображение и заставило меня за-сесть у себя в углу; даже во времена моей юности — а она была много дерзостнее — я поставил себе за правило не взваливать на свои плечи непосильной для меня ноши, не брать на себя ответственности за решения столь исключительной важности, не осмеливаться на то, на что я не мог бы осмелиться, рассуждая здраво, даже в наиболее простом из того, чему меня обучали, хотя смелость суждений в последнем случае и не могла бы ничему повредить. Мне кажется в высшей степени несправедливым стремление подчинить отстоявшиеся общественные правила и учреждения непостоянству частного произвола (ибо частный разум обладает лишь частной юрисдикцией) и тем более предпринимать против законов божеских то, чего не потерпела бы ни одна власть на свете в отношении законов гражданских, которые хотя и более по плечу уму человеческому, все же являются верховными судьями своих судей; самое большее, на что мы способны, — это объяснить и распространить применение уже принятого, но отнюдь не отменять его и заменять новым. . .

В настоящее время мы охвачены распрей: дело идет о том, чтобы убрать и заменить новыми целую сотню догматов, и каких важных и значитель-

ных догматов; а много ли найдется таких, которые могли бы похвастаться, что им досконально известны доводы и основания как той, так и другой стороны? Число их окажется столь незначительным — если только это и впрямь можно назвать числом, — что они не могли бы вызвать между нами смятения. Но все остальное скопище — куда несется оно? Под каким знаменем устремляются вперед нападающие? Здесь происходит то же, что с иным слабым и неудачно примененным лекарством; те вредные соки организма, которые ему надлежало б изгнать, оно на самом деле, столкнувшись с ними, только разгорячило, усилило и раздражило, а затем, наделав всех этих бед, осталось бродить в нашем теле. Оно не смогло освободить нас от болезни из-за своей слабости и вместе с тем ослабило нас настолько, что мы не в состоянии побороть его, и его действие сказывается лишь в том, что нас мучат долго не прекращающиеся боли во внутренностях.

Бывает, однако, и так, что судьба, могущество которой всегда превосходит наше предвидение, ставит нас в настолько тяжелое положение, что законам приходится несколько потесниться и кое в чем уступить. И если, сопротивляясь возрастанию нового, стремящегося насильственно пробить себе путь, держать себя всегда и во всем в узде и строго соблюдать установленные правила, то подобное самоограничение в борьбе с тем, кто обладает свободою действий, для кого допустимо решительно все, лишь бы оно шло на пользу его наме-

рениям, кто не знает ни другого закона, ни других побуждений, кроме тех, что сулят ему выгоду, неправильно и опасно: *Aditum nocendi perfido praestat fides*³⁰. Но ведь обычный правопорядок в государстве, пребывающем в полном здравии, не предусматривает подобных исключительных случаев: он имеет в виду упорядоченное сообщество, опирающееся на свои основные устои и выполняющее свои обязанности, а также согласие всех соблюдать его и повиноваться ему. Действовать, придерживаясь закона, — значит действовать спокойно, размеренно, сдержанно, а это вовсе не то, что требуется в борьбе с действиями бесчинными и необузданными...

педантизме

... **Я** готов был бы сказать, что подобно тому как растения угасают от чрезмерного обилия влаги, а светильники — от обилия масла, так и ум человеческий при чрезмерных занятиях и обилии знаний, загроможденный и подавленный их бесконечным разнообразием, теряет способность разобраться в этом нагромождении и под бременем непосильного груза сгибается и увядает. Но в действительности дело обстоит иначе, ибо чем больше заполняется наша душа, тем вместительнее она становится, и среди тех, кто жил в стародавние времена, можно встретить, напротив, немало людей, прославившихся на общественном поприще, — например, великих полко-

водцев или государственных деятелей, обладавших вместе с тем и большою ученостью.

Что до философов, уклонявшихся от всякого участия в общественной жизни, то недаром их порою высмеивала без всякого стеснения современная им комедия, ибо их мнения и повадки действительно казались забавными. Угодно вам сделать их судьями, которые вынесли бы приговор по чьей-либо тяжбе или оценили действия того или иного лица? О, они с великой готовностью делают это! Они прежде всего займутся такими вопросами, как: существует ли жизнь, существует ли движение? Представляет ли собой человек нечто иное, чем бык? Что значит действовать и страдать? Что это за звери — законы и правосудие? Говорят ли они о правителях или с правителями — речи их непочтительны и распущенны. Слышат ли они похвалы своему князю или царю — для них он не более как пастух, праздный, как все пастухи, занятый исключительно тем, что стрижет и доит свое стадо, только еще более грубый. Считаете ли вы кого-нибудь стоящим выше других по той причине, что ему принадлежат две тысячи арпанов³¹ земли, — они начинают издеваться над этим, ибо привыкли рассматривать весь мир как свою собственность. Гордитесь ли вы своей знатностью на том основании, что можете насчитать семь богатых предков, — они не ставят вас ни во что, ибо вы не постигли, по их мнению, общей картины природы и сколько каждый из нас насчитывает в своей родословной предшественников, богатых и бедных,

царей и слуг, просвещенных людей и варваров. И будь вы даже в пятидесятом колене потомком Геркулеса, они и в этом случае скажут, что вы суетны, если цените этот подарок судьбы. Вот в этом и заключается причина презрения, которое к ним питает толпа, как к людям, не понимающим самых простых общеизвестных вещей, притом заносчивым и надменным³². Но это принадлежащее Платону изображение весьма далеко от того, что представляют собою наши педанты. Философы древности вызывали к себе зависть, поскольку они возвышались над общим уровнем, пренебрегали общественной деятельностью, жили отчужденно, на свой особый лад, руководствуясь несколькими возвышенными и не получившими всеобщего распространения правилами. наших педантов, напротив, презирают за то, что они ниже общего уровня, не способны выполнять общественные обязанности и, наконец, придерживаются образа жизни и нравов еще более грубых и низменных, нежели нравы и образ жизни толпы...

...Крикните нашей толпе о ком-нибудь из мимолетных: «Это ученейший муж!», и о другом: «Это человек, исполненный добродетели!» — и она не преминет обратить свои взоры и свое уважение к первому. А следовало бы, чтобы еще кто-нибудь крикнул: «О, тупые головы! Мы постоянно спрашиваем: знает ли такой-то человек греческий или латынь? Пишет ли он стихами или про-

зой? Но стал ли он от этого лучше и умнее — что, конечно, самое главное, — этим мы интересуемся меньше всего. А между тем надо стараться выяснить — не кто знает больше, а кто знает лучше».

Мы трудимся лишь над тем, чтобы начинить свою память, оставляя разум и совесть праздными. Иногда птицы, найдя зерно, уносят его в своем клюве и, не попробовав, скармливают его птенцам; так и наши педанты, натаскав из книг знаний, держат их на кончиках губ, чтобы тотчас же освободиться от них и пустить их по ветру...

Дионисий издевался над теми грамматиками, которые со всей тщательностью изучают бедствия Одиссея, но не замечают своих собственных; над музыкантами, умеющими настроить свои флейты, но не знающими, как внести гармонию в свои нравы; над ораторами, старающимися проповедовать справедливость, но не соблюдающими ее на деле³³.

Если учение не вызывает в нашей душе никаких поворотов к лучшему, если наши суждения с его помощью не становятся более здоровыми, то наш школяр, по-моему, мог бы с таким же успехом вместо занятий науками играть в мяч; в этом случае, по крайней мере, его тело сделалось бы более крепким. Но взгляните: вот он возвращается после пятнадцати или шестнадцати лет занятий; найдется ли еще кто-нибудь, столь же не приспособленный к практической деятельности?

От своей латыни и своего греческого он стал надменнее и самоуверенней, чем был прежде, покидая родительский кров, — вот и все его приобретения. Ему полагалось бы прийти с душой наполненной, а он приходит с разбухшею; ей надо было бы возвеличиться, а она у него только раздулась...

Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред. Причина этого, которую я пытался только что выяснить, заключается, быть может, и в том, что у нас во Франции обучение наукам не преследует, как правило, никакой иной цели, кроме прямой выгоды. Я не считаю тех весьма немногих лиц, которые, будучи созданы самой природой для занятий скорей благородных, чем прибыльных, всей душой отдаются науке; да из них некоторые, не успев как следует познать вкус науки, оставляют ее ради деятельности, не имеющей ничего общего с книгами. Таким образом, по-настоящему уходят в науку едва ли не одни горемыки, ищущие в ней средства к существованию. Однако в душе этих людей, и от природы и вследствие домашнего воспитания, а также повседневных примеров весьма низкопробной, наука приносит чаще всего дурные плоды... Ведь она не в состоянии озарить светом душу, которая лишена его, или заставить видеть слепого; ее назначение не в том, чтобы даровать человеку зрение, но в том, чтобы научить его правильно пользоваться зрением, когда он движется, при условии, разумеется, что он распола-

гает здоровыми и способными передвигаться ногами. Наука — великолепное снадобье; но никакое снадобье не бывает столь стойким, чтобы сохраняться, не подвергаясь порче и изменениям, если плох сосуд, в котором его хранят. У иного, казалось бы, и хорошее зрение, да, на беду, он косит; вот почему он видит добро, но уклоняется от него в сторону, видит науку, но не следует ее указаниям... Основное правило в государстве Платона — это поручать каждому гражданину только соответствующие его природе обязанности. Природа все может и все делает. Хромые мало пригодны к тому, что требует телесных усилий; так же и те, кто хромает душой, мало пригодны к тому, для чего требуются усилия духа. Душа ублюдочная и низменная не может возвыситься до философии. Встретив дурно обутого человека, мы говорим себе: не удивительно, если это сапожник. Равным образом, как указывает нам опыт, нередко бывает, что врач менее, чем всякий другой, печется о врачевании своих недугов, теолог — о самоусовершенствовании, а ученый — о подлинных знаниях...

Древние хотели сократить путь и — поскольку никакая наука, даже при надлежащем ее усвоении, не способна научить нас чему-либо большему, чем благоразумию, честности и решительности, — сразу же привить их своим детям, обучая последних не на слух, но путем опыта, направляя и формируя их души не столько наставлениями и словами, сколько примерами и делами,

с тем чтобы эти качества не были восприняты их душой как некое знание, но стали бы ее неотъемлемым свойством и как бы привычкой, чтобы они не ощущались ею как приобретения со стороны, но были бы ее естественной и неотчуждаемой собственностью...

...
О
воспитании
детей

Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что он ему преподносит, и пусть ничего не вдабливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние; пусть принципы Аристотеля не становятся его неизменными основами, равно как не становятся ими и принципы стоиков или эпикурейцев. Пусть учитель изложит ему, чем отличаются эти учения друг от друга; ученик же, если это будет ему по силам, пусть сделает выбор самостоятельно или, по крайней мере, останется при сомнении. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности...

Ибо если он примет мнения Ксенофонта или Платона, поразмыслив над ними, они перестанут быть их собственностью, но сделаются также и его мнениями. Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует. Он ничего не находит: да он и не ищет ничего. Non sumus sub rege, sibi quisque se vindicet³⁴. Главное — чтобы он знал то, что знает. Нужно, чтобы он проникся духом былых мыслителей, а не заучивал их наставления.

И пусть он не страшится забыть, если это угодно ему, откуда он почерпнул эти взгляды, лишь бы он сумел сделать их своей собственностью. Истина и доводы разума принадлежат всем, и они не в большей мере достояние тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал их впоследствии. То-то и то-то столь же находится в согласии с мнением Платона, сколько и с моим, ибо мы обнаруживаем здесь единомыслие и смотрим на дело одинаковым образом. . .

Пусть он таит про себя все, что взял у других, и передает гласности только то, что из него создал. Грабители и стяжатели выставляют напоказ выстроенные ими дома и свои приобретения, а не то, что они вытянули из чужих кошельков. Вы не видите подношений, полученных от просителей каким-нибудь членом парламента; вы видите только то, что у него обширные связи и что детей его окружает почет. Никто не подсчитывает своих доходов на людях; каждый ведет им счет про себя. Выгода, извлекаемая нами из наших занятий, заключается в том, что мы становимся лучше и мудрее. . .

Что до той школы, которой является общение с другими людьми, то тут я нередко наталкивался на один обычный порок: вместо того чтобы стремиться узнать других, мы хлопочем только о том, как бы выставить себя напоказ, и наши заботы направлены скорее на то, чтобы не дать за-

лежаться своему товару, нежели чтобы приобрести для себя новый. Молчаливость и скромность — качества, в обществе весьма ценные. Ребенка следует приучать к тому, чтобы он был бережлив и воздержан в расходовании знаний, которые им будут накоплены; чтобы он не оспаривал глупостей и вздорных выдумок, высказанных в его присутствии, ибо весьма невежливо и нелюбезно отвергать то, что нам не по вкусу. Пусть он довольствуется исправлением самого себя и не корит другого за то, что ему самому не по сердцу: пусть он не восстает также против общепринятых обычаев. . .

Пусть он избегает придавать себе заносчивый и надменный вид, избегает ребяческого тщеславия, состоящего в желании выделяться среди других и прослыть умнее других, пусть не гонится он за известностью человека, который бранит все и вся и пыжится выдумать что-то новое. Подобно тому как лишь великим поэтам пристало разрешать себе вольности в своем искусстве, так лишь великим и возвышенным душам дозволено ставить себя выше обычая. . .

Следует научить ребенка вступать в беседу или в спор только в том случае, если он найдет, что противник достоин подобной борьбы; его нужно научить также не применять все те возражения, которые могут ему пригодиться, но только сильнейшие из них. Надо приучить его тщательно выбирать доводы, отдавая предпочтение наиболее точным, а следовательно, и кратким. Но

прежде всего пусть научат его склоняться перед истиной и складывать перед нею оружие, лишь только он увидит ее, — независимо от того, открылась ли она его противнику или озарила его самого...

Пусть совесть и добродетели ученика находят отражение в его речи и не знают иного руководителя, кроме разума. Пусть его заставят понять, что признаться в ошибке, допущенной им в своем рассуждении, даже если она никем, кроме него, не замечена, есть свидетельство ума и чистосердечия, к чему он в первую очередь и должен стремиться; что упорствовать в своих заблуждениях и отстаивать их — свойства весьма обыденные, присущие чаще всего наиболее низменным душам, и что умение одуматься и поправить себя, сознаться в своей ошибке в пылу спора — качества редкие, ценные и свойственные философам.

Его следует также наставить, чтобы, бывая в обществе, он присматривался ко всему и ко всем, ибо я нахожу, что наиболее высокого положения достигают обычно люди не слишком способные и что судьба осыпает своими дарами отнюдь не самых достойных. Так, например, я не раз наблюдал, как на верхнем конце стола за разговором о красоте какой-нибудь шпалеры или о вкусе мальвазии упускали много любопытного из того, что говорилось на противоположном конце. Он должен добраться до нутра всякого, кого бы ни встретил, — пастуха, каменщика, прохожего; нужно использовать все и взять от каждого по

его возможностям, ибо все, решительно все пригодится, — даже чьи-либо глупость или недостатки содержат в себе нечто поучительное. Оценивая достоинства и свойства каждого, юноша воспитает в себе влечение к их хорошим чертам и презрение к дурным. . .

Общаясь с людьми, ум человеческий достигает изумительной ясности. Ведь мы погружены в себя, замкнулись в себе; наш кругозор крайне мал, мы не видим дальше своего носа. У Сократа как-то спросили, откуда он родом. Он не ответил: «Из Афин», а сказал: «Из Вселенной». Этот мудрец, мысль которого отличалась такой широтой и таким богатством, смотрел на Вселенную как на свой родной город, отдавая свои знания, себя самого, свою любовь всему человечеству, — не так, как мы, замечающие лишь то, что у нас под ногами. . .

Этот огромный мир, многократно увеличиваемый к тому же теми, кто рассматривает его как вид внутри рода, и есть то зеркало, в которое нам нужно смотреться, дабы познать себя до конца. Короче говоря, я хочу, чтобы он был книгой для моего юноши. Познакомившись со столь великим разнообразием характеров, сект, суждений, взглядов, обычаев и законов, мы научаемся здраво судить о собственных, а также приучаем наш ум понимать его несовершенство и его врожденную немощность; а ведь это наука не из особенно легких. Картина стольких государственных смут и смен в судьбах различных



народов учит нас не слишком гордиться собой. Столько имен, столько побед и завоеваний, погребенных в пыли забвения, делают смешною нашу надежду увековечить в истории свое имя захватом какого-нибудь курятника, ставшего сколько-нибудь известным только после своего падения, или взятием в плен десятка конных вояк. Пышные и горделивые торжества в других государствах, величие и надменность стольких властителей и дворов укрепят наше зрение и помогут смотреть, не щурясь, на блеск нашего собственного двора и властителя, а также преодолеть страх перед смертью и спокойно отойти в иной мир, где нас ожидает столь отменное общество.

То же и со всем остальным.

Наша жизнь, говорил Пифагор, напоминает собой большое и многолюдное сборище на олимпийских играх. Одни упражняют там свое тело, чтобы завоевать себе славу на состязаниях, другие тащат туда для продажи товары, чтобы извлечь из этого прибыль. Но есть и такие — и они не из худших, — которые не ищут здесь никакой выгоды: они хотят лишь посмотреть, каким образом и зачем делается то-то и то-то, они хотят быть попросту зрителями, наблюдающими жизнь других, чтобы вернее судить о ней и соответственным образом устроить свою. . .

Странное дело, но в наш век философия, даже для людей мыслящих, — всего лишь пустое слово, которое, в сущности, ничего не означает; она не находит себе применения и не имеет никакой цен-

ности ни в чьих-либо глазах, ни на деле. Полагаю, что причина этого — бесконечные словопрения, которыми ее окружили. Глубоко ошибаются те, кто изображает ее недоступною для детей, с нахмуренным челом, с большими косматыми бровями, внушающей страх. Кто напялил на нее эту лживую маску, такую тусклую и отвратительную? На деле же не сыскать ничего другого столь милого, бодрого, радостного, чуть было не сказал — шаловливого. Философия призывает только к празднествам и веселью. Если пред вами нечто печальное и унылое, — значит, философии тут нет и в помине...

Душа, вместившая в себя философию, не может не заразить своим здоровьем и тело. Царящие в ней покой и довольство она не может не излучать вовне; она не может, равным образом, не переделать по своему образу и подобию нашу внешность, придав ей соответственно исполненную достоинства гордость, веселость и живость, выражение удовлетворенности и добродушия. Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность...



П

резирать то, чего мы не можем постигнуть, — опасная смелость, чреватая неприятнейшими последствиями, не говоря уж о том, что это нелепое безрассудство. Ведь установив, согласно вашему премудрому разумению, границы истинного и ложного, вы тотчас же должны будете отказаться от них, ибо неизбежно обнаружите, что приходится верить вещам еще более странным, чем те, которые вы отвергаете. . .

Почему бы не вспомнить нам, сколько противоречий ощущаем мы сами в своих суждениях! Сколь многое еще вчера было для нас нерушимыми догматами, а сегодня воспринимается нами как басни! Тщеславие и любопытство — вот два бича нашей души. Последнее гонит нас всюду совать свой нос, первое запрещает оставлять что-либо неопределенным и нерешенным. . .

Если бы люди достаточно хорошо отличали невозможное от необычного и то, что противоречит порядку вещей и законам природы, от того, что противоречит общераспространенным мнениям, если бы они не были ни безрассудно доверчивыми, ни столь же безрассудно склонными к недоверию, тогда соблюдалось бы предписываемое Хилоном* правило: «Ничего чрезмерного».

* Хило́н (VI в. до н. э.) — философ, обычно включаемый в число «семи греческих мудрецов».

*Безумие
судить,
что истинно
и что ложно,
на основании
наших
осведомлен-
ности*

... **К**алликл у Платона³⁵ говорит, что крайнее увлечение философией вредно, и советует не углубляться в нее далее тех пределов, в каких она полезна; если заниматься ею умеренно, она приятна и удобна, но в конце концов она делает человека порочным и диким, презирающим общие верования и законы, врагом приятного обхождения, врагом всех человеческих наслаждений, неспособным заниматься общественной деятельностью и оказывать помощь не только другому, но и себе самому, готовым безропотно сносить оскорбления. Он вполне прав, ибо, если предаваться в философии излишествам, она отнимает у нас естественную свободу и своими докучливыми ухищрениями уводит с прекрасного и ровного пути, который указывает нам природа. . .

Я люблю природы умеренные и средние во всех отношениях. Чрезмерность в чем бы то ни было, даже в том, что есть благо, если не оскорбляет меня, то, во всяком случае, удивляет, и я затрудняюсь, каким бы именем ее окрестить.



Итак, мы можем, конечно, назвать жителей Нового Света варварами, если судить с точки зрения требований разума, но не на основании сравнения с нами самими, ибо во всякого рода варварстве мы оставили их далеко позади себя. Их способ ведения войны честен и благороден и даже извинителен и красив — настолько, насколько может быть извинителен и красив этот недуг человечества: основанием для их войн является исключительно влечение к доблести. Они начинают войну не ради завоевания новых земель, ибо все еще наслаждаются плодородием девственной природы, снабжающей их, без всякого усилия с их стороны, всем необходимым для жизни в таком изобилии, что им незачем расширять собственные пределы. Они все еще пребывают в том благословенном состоянии духа, когда в человеке еще нет желаний сверх вызываемых его естественными потребностями; все то, что превосходит эти потребности, им ни к чему. Всех своих единомышленников, которые примерно одинакового с ними возраста, они называют братьями, младших — своими детьми, стариков же — отцами. Эти последние оставляют свое имущество в наследство всей общине, без раздела и без всякого иного права на владение им, кроме того, какое дарует своим созданиям, производя их

Монтень, подобно многим своим современникам, называет каннибалами, то есть людоедами, всех туземных обитателей Америки (исключая жителей Мексики и Перу).

на свет, природа. Если соседи их, перейдя через горы, совершают на них нападение и одерживают победу, то вся добыча победителя — только в славе да еще в сознании своего превосходства в силе и доблести; им нет дела до имущества побежденных, они возвращаются в свою область, где у них нет недостатка ни в чем, а главное — в том величайшем благе, которое состоит в умении наслаждаться своей долей и довольствоваться ею. Так же поступают, в свою очередь, и они сами, когда им случается быть победителями. Они не требуют от своих пленных иного выкупа, кроме громко сделанного заявления, что те признали себя побежденными; но в течение целого столетия не нашлось среди них такого, который не предпочел бы умереть, нежели хоть сколько-нибудь поступиться в своих речах или действиях величию своего несокрушимого мужества; и не встретишь среди них такого, который из страха быть убитым и съеденным соизволил бы попросить о том, чтобы с ним не сделали этого. Они предоставляют пленникам полную свободу для того, чтобы жизнь приобрела для них тем большую цену, и постоянно толкуют им об угрожающей им близкой смерти, о муках, которые им предстоит вытерпеть, о приготовлениях, производимых с этой целью, о том, как они разрубят их на кусочки и будут лакомиться ими на своем пиршестве. Все это делается исключительно для того, чтобы вырвать у них хотя бы несколько малодушных и униженных слов или пробудить в них желание бежать

и таким образом, напугав их и сломив их стойкость, почувствовать свое превосходство над ними.

Для христианина достаточно верить, что все исходит от бога, принимать все с благодарностью и признанием его неисповедимой божественной мудрости, считать благом все выпавшее на его долю, в каком бы облики оно ни было ему ниспослано. Но я никоим образом не могу примириться с тем, что вижу повсеместно в обычае, а именно, со стремлением утвердить и подкрепить нашу религию ссылками на успех и процветание наших дел. Наша вера располагает достаточным количеством иных оснований, чтобы нуждаться еще в подобного рода ссылках на события; ведь существует опасность, что народ, привыкнув к этим столь соблазнительным и пришедшимся ему по вкусу доводам, когда вдруг случится что-нибудь противоположное и ему неприятное, может поколебаться в своей вере...

Господь бог, желая показать нам, что благо, на которое может надеяться добрый, и зло, которого должен страшиться злой, не имеют ничего общего с удачами и неудачами мира сего, располагает ими и распределяет их согласно своим тайным предначертаниям, отнимая тем самым у нас возможность пускаться на этот счет в нелепейшие рассуждения. И в дураках остаются те,

*От том,
что судить
о божественных
предначертаниях
следует
с величайшей
осторожностью.*

кто пытается разобраться в этих вещах, опираясь на свой человеческий разум. За каждым удачным ударом у них следует по меньшей мере два промаха...

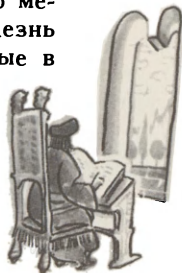
Об
уединении

Оставим в стороне пространные сравнения жизни уединенной и жизни деятельной. Что же касается красиво звучащего изречения, которым прикрываются честолюбие и стяжательство, а именно: «Мы рождены не для себя, но для общества», то пусть его повторяют вдоволь те, кто без стеснения пляшет со всеми друзьями. Но если у них есть хоть крупинка совести, они должны будут сознаться, что за привилегиями, должностями и прочей мирской мишурой они гонятся вовсе не ради служения обществу, а скорей ради того, чтобы извлечь из общественных дел выгоду для себя. Бесчестные средства, с помощью которых многие в наши дни возвышаются, ясно говорят о том, что и цели также не стоят доброго слова. А честолюбию давайте ответим, что оно-то и прививает нам вкус к уединению, ибо чего же чуждается оно больше, чем общества, и к чему оно стремится с такой же настойчивостью, как не к тому, чтобы иметь руки свободными? Добро и зло можно творить повсюду: впрочем, если справедливы слова Бианта³⁶, что «большая часть — это всегда наихудшая», или также Эккезиаста³⁷, что «и в целой тысяче не най-

ти ни одного доброго», то в этой толчее недолго и заразиться. Нужно или подражать людям порочным, или же ненавидеть их. И то и другое опасно: и походить на них, ибо их превеликое множество, и сильно ненавидеть их, ибо они на нас не похожи.

Сказанное вовсе не означает, что мудрец не мог бы жить в свое удовольствие где угодно, чувствуя себя в одиночестве даже среди толпы придворных; но если бы ему было дано выбирать, то, как учит его философия, он постарался бы даже не глядеть на этих людей. Он готов снести это, если окажется необходимым, но если дело будет зависеть от него самого, он изберет совершенно иное. Ему будет казаться, что он и сам не вполне избавился от пороков, если ему понадобится бороться с пороками остальных...

Если не сбросить сначала со своей души бремена, которое ее угнетает, то в дорожной тряске она будет еще чувствительней. Ведь так же и с кораблем: ему легче плыть, когда груз на нем хорошо уложен и закреплен. Вы причиняете больному больше вреда, чем пользы, заставляя его менять положение; шевеля его, вы загоняете болезнь внутрь. Чем больше мы раскачиваем воткнутые в землю колья и нажимаем на них, тем глубже они уходят в почву и увязают в ней. Недостаточно поэтому уйти от людей, недостаточно переменить место, нужно уйти и от свойств толпы, укоренившихся в нас; нужно расстаться с собой и затем заново обрести себя...



*О
существующих
среди нас
различиях*

... **Н**адо судить о человеке по качествам его, а не по нарядам, и, как остроумно говорит один древний автор, «знаете ли, почему он кажется вам таким высоким? Вас обманывает высота его каблуков»³⁸. Цоколь — еще не статуя. Измеряйте человека без ходулей. Пусть он отложит в сторону свои богатства и звания и предстанет перед вами в одной рубашке. Обладает ли тело его здоровьем и силой, приспособлено ли оно к свойственным ему занятиям? Какая душа у него? Прекрасна ли она; одарена ли способностями и всеми надлежащими качествами? Ей ли принадлежит ее богатство или оно заимствовано? Не обязана ли она всем счастливому случаю? Может ли она хладнокровно видеть блеск обнаженных мечей? Способна ли бесстрашно встретить и естественную и насильственную смерть? Достаточно ли в ней уверенности, уравновешенности, удовлетворенности? Вот в чем надо дать себе отчет, и по этому надо судить о существующих между нами громадных различиях...

И тем не менее таково обычное наше ослепление, что мы очень мало или совсем не считаемся с этим. Когда же мы видим крестьянина и короля, дворянина и простолюдина, сановника и частное лицо, богача и бедняка, нашим глазам они представляются до крайности несходными, а между тем они, в сущности, отличаются друг от друга только своим платьем...

Царь — всего-навсего человек. И если он плох

от рождения, то даже власть над всем миром не сделает его лучше...

...Царское достоинство совершенно лишает государя дружеских связей и живого общения с людьми, а ведь именно в этом величайшая радость человеческой жизни. Ибо как я могу рассчитывать на выражение искренней приязни и доброй воли от того, кто — хочет он этого или нет — во всем от меня зависит? Могу ли я доверять его смиренным речам и учтивым приветствиям, раз он вообще не имеет возможности вести себя иначе?..

Разве мы не видим, что и доброму и злему владыке, и тому, кого ненавидят, и тому, кого любят, воздается одно и то же? С такими же высшими знаками почтения, с тем же церемониалом служили моему предшественнику и будут служить моему преемнику. Если подданные не оскорбляют меня, это не является выражением их привязанности: какое право имел бы я думать, что это привязанность, когда они не могут быть иными, даже если бы захотели? Никто не следует за мной в силу дружеского чувства, возникшего между ними; ибо не может завязаться дружба там, где так мало взаимных связей и соответствия в положении. Высота, на которой я пребываю, поставила меня вне общения с людьми. Они следуют за мной по обычаю или по привычке, или, точнее, не за мной, а за моим счастьем, чтобы приумножить свое. Все, что они мне говорят и для меня делают, — только прикрасы, ибо их сво-

бода со всех сторон ограничена моей великой властью над ними. Все, что я вижу вокруг себя, прикрыто личинами.

Однажды придворные восхваляли императора Юлиана за справедливость. «Я охотно гордился бы, — сказал он, — этими похвалами, если бы они исходили от лиц, которые осмелились бы осудить или подвергнуть порицанию противоположные действия, буде я их совершил бы».

Один ритор былых времен говорил, что его ремесло состоит в том, чтобы вещи малые изображать большими. Пригонять большие сапоги к маленькой ноге — искусство сапожника. В Спарте его подвергли бы бичеванию за то, что он сделал своим ремеслом обман и надувательство. Я думаю, что Архидам, который был царем Спарты, не без удивления выслушал ответ Фукидида³⁹ на свой вопрос, кто сильнее в единоборстве — он или Перикл. «Это, — сказал Фукидид, — было бы трудно проверить; ибо если бы я свалил его на землю, он сумел бы убедить зрителей, что он не упал, а одержал верх». Те, кто изменяет и подкрашивает лица женщин, причиняет меньше вреда, ибо не видеть их природного облика — потеря небольшая. Люди, пытающиеся обмануть не глаза наши, а разум и извратить и исказить истинную сущность вещей, гораздо вреднее. Государства, в управлении которыми гос-

О
ветности
слов

подставовал твердый порядок, как, например, критское или лакедонское, не придавали большого значения ораторам...

Красноречие процветало в Риме больше всего тогда, когда его дела шли хуже всего, когда его потрясли бури гражданской войны, подобно тому как на невозделанном и запущенном поле пышнее всего разрастаются сорные травы. Из этого можно сделать вывод, что государства, где правит монарх, нуждаются в красноречии меньше, чем все другие...

... **Е**сть все основания утверждать, что невежество бывает двоякого рода: одно, безграмотное, предшествует науке; другое, чванное, следует за нею. Этот второй род невежества так же создается и порождается наукой, как первый разрушается и уничтожается ею.

Простые умы, мало любознательные и мало развитые, становятся хорошими христианами из почтения и покорности; они бесхитростно веруют и подчиняются законам. В умах, обладающих средней степенью силы и средними способностями, рождаются ошибочные мнения. Они следуют за поверхностным здравым смыслом и имеют некоторое основание объяснять простотой и глупостью то, что мы придерживаемся старинного образа мыслей, имея в виду тех из нас, которые не про-

*О
Светлых
Жизненных*

свещены наукой. Великие умы, более основательные и проникновенные, являют собой истинно верующих другого рода: они длительно и благоговейно изучают священное писание, обнаруживают в нем более глубокую истину и, озаренные ее светом, понимают сокровенную и божественную тайну учения нашей церкви. Все же мы видим, что некоторые достигают этой высшей ступени через промежуточную, испытав при этом величайшую радость и убежденность в том, что ими достигнута последняя грань христианского просвещения, и наслаждаются своей победой, нравственно перерожденные, исполненные умиления, благодарности и величайшей скромности. Но в их число я не хотел бы включать тех людей, которые, желая очиститься от всякого подозрения в склонности к своим прежним заблуждениям и убедить нас в своей твердости, впадают в крайность, становятся нетерпимыми и несправедливыми в отстаивании нашего дела и пятнают его, вызывая постоянные упреки в жестокости. . .

... **Т**еперь я думаю о том, откуда взялось у нас ошибочное стремление прибегать к богу во всех наших намерениях и предприятиях, призывать его во всех наших нуждах и во всех делах, в которых нам по слабости нашей требуется помощь, не заботясь о том, справедливы или несправедливы наши желания, и взывать

О молитвах

к имени его и могуществу во всяком положении и во всяком деле, даже в самом порочном.

..Поведение человека, который гнусную жизнь сочетает с благочестием, кажется мне гораздо более достойным осуждения, чем поведение человека, верного себе во всем и всегда одинаково порочного...

... **И**зобретение пыток — опасное изобретение, и мне сдается, что это скорее испытание терпения, чем испытание истины⁴⁰. Утаивает правду и тот, кто в состоянии их вынести, и тот, кто не в состоянии сделать это. Действительно, почему боль заставит меня скорее признать то, что есть, чем то, чего нет? И, наоборот, если человек, не совершавший того, в чем его обвиняют, достаточно терпелив, чтобы вынести эти мучения, то почему человек, совершавший это дело, не будет столько же терпелив, зная, что его ждет такая щедрая награда, как жизнь. Я думаю, что это изобретение в основе своей покоится на учете действия нашей совести. Ведь виновному кажется, что совесть помогает пытке, понуждая его признать свою вину, и что она делает его более слабым, невинному же она придает силы переносить пытку. Однако, говоря по правде, пытка — весьма ненадежное и опасное средство.

Чего только не наговорит человек на себя, чего он только не сделает, лишь бы избежать этих

О совести

ужасных мук? Etiam innocentes coget mentiri dolor ⁴¹.

Вот почему бывает, что тот, кого судья пытал, чтобы не погубить невинного, погибает и невинным и замученным пыткой. Сотни тысяч людей возводили на себя ложные обвинения. К числу их я отношу и Филоту ⁴², принимая во внимание условия суда, устроенного над ним Александром, и как его пытали.

И тем не менее говорят, что это наименьшее из зол, изобретенных человеческой слабостью! Я, однако, нахожу пытку средством крайне бесчеловечным и совершенно бесполезным...

...Чтобы хорошенько вникнуть в это, заметьте только, как часто бывает, что испытуемый предпочитает лучше умереть без всяких оснований, лишь бы только не подвергаться этому испытанию, которое хуже казни и нередко своей жестокостью приводит к смерти, предвосхищая казнь...

... **Я** осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в уважении к чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я нахожу, что то, чего нельзя сделать с помощью разума, осмрительности и умения, никак нельзя добиться силой. Такое воспитание получил я сам. Рассказывают, что в раннем детстве меня всего два раза высе-

*О
родительской
любви*

ли, и то лишь слегка. Своих детей я воспитывал в том же духе; к несчастью, все они умирали в младенческом возрасте: этой участи счастливо избежала только дочь моя Леонор⁴³, к которой до шестилетнего возраста и позднее никогда не применялось никаких других наказаний за ее детские провинности, кроме словесных внушений, да и то всегда очень мягких (что вполне отвечало снисходительности ее матери). И если бы даже мои намерения в отношении воспитания и не оправдали себя на деле, это можно было бы объяснить целым рядом других причин, не опорочивая моего метода воспитания, который правилен и естествен. С мальчиками в этом отношении я рекомендовал бы быть особенно сдержанным, ибо они еще в меньшей мере созданы для подчинения и предназначены к известной независимости; я поэтому постарался бы развить в них влечение к прямоте и непосредственности. Между тем от розог я не видел никаких других результатов, кроме того, что дети становятся от них только более трусливыми и лукаво упрямыми...

Безрассудно и нелепо также со стороны отцов не желать поддерживать со своими взрослыми детьми непринужденно-близких отношений и принимать в общении с ними надутый важный вид, рассчитывая этим держать их в страхе и повиновении. Но на деле это бессмысленная комедия, делающая отцов в глазах детей скучными или — что еще хуже — потешными: ведь их дети молоды, полны сил, и им, следовательно, море по колено,

а потому им смешны надменные и властные гримасы бессильного и дряхлого старца, напоминающего пугало на огороде. Если бы дело шло обо мне, я предпочел бы, чтобы лучше меня любили, чем боялись⁴⁴.

Старость связана со множеством слабостей, она так беспомощна, что легко может вызывать презрение; поэтому наилучшее приобретение, какое она может сделать, это любовь и привязанность близких. Приказывать и внушать страх — не ее оружие. . .

Мы любим наших детей по той простой причине, что они рождены нами, и называем их нашим вторым «я», а между тем существует другое наше порождение, всецело от нас исходящее и не меньшей ценности: ведь то, что порождено нашей душой, то, что является плодом нашего ума и душевных качеств, увидело свет благодаря более благородным органам, чем наши органы размножения; эти создания еще более наши, чем дети; при этом творении мы являемся одновременно и матерью и отцом, они достаются нам гораздо труднее и приносят нам больше чести, если в них есть что-нибудь хорошее. Ведь достоинства наших детей являются в большей мере их достоинствами, чем нашими, и наше участие в них куда менее значительно, между тем как вся красота, все изящество и вся ценность наших духовных творений принадлежат всецело нам. Поэтому они гораздо ярче представляют и отражают нас, чем физическое наше потомство.

Платон замечает по этому поводу, что наши духовные творения—это бессмертные дети, они приносят своим отцам бессмертие и даже обожествляют их, как, например, случилось с Ликургом, Солоном, Миносом ⁴⁵.

... Я разумеется, хотел бы обладать более совершенным знанием вещей, чем обладаю, но я знаю, как дорого обходится знание, и не хочу покупать его такой ценой. Я хочу провести остаток своей жизни спокойно, а не в упорном труде. Я не хочу ломать себе голову ни над чем, даже ради науки, какую бы ценность она ни представляла. Я не ищу никакого другого удовольствия от книг, кроме разумной занимательности, и занят изучением только одной науки, науки самопознания, которая должна меня научить хорошо жить и хорошо умереть:

Has meus ad metas sudet oportet equus ⁴⁶.

Если я при чтении натываюсь на какие-нибудь трудности, я не бьюсь над разрешением их, а, попытавшись разок-другой с ними справиться, прохожу мимо.

Если бы я углубился в них, то потерял бы только время и сам потонул бы в них, ибо голова моя устроена так, что я обычно усваиваю с первого же чтения, и то, чего я не воспринял сразу, я начинаю еще хуже понимать, когда упорно бьюсь над этим. Я все делаю весело, упорство же

О книгах

и слишком большое напряжение действуют удручающе на мой ум, утомляют и омрачают его...

К числу книг просто занимательных и которыми стоит развлекаться; я отношу из новых — «Декамерон» Боккаччо, Рабле и «Поцелуи» Иоанна Секунда⁴⁷, если их можно поместить в эту рубрику. Что касается Амадиса⁴⁸ и сочинений в таком роде, то они привлекали мой интерес только в детстве. Скажу еще — может быть, смело, а может, безрассудно, — что моя состарившаяся и отяжелевшая душа нечувствительна больше не только к Ариосто, но и к доброму Овидию: его легкомыслие и прихоти фантазии, приводившие меня когда-то в восторг, сейчас не привлекают меня.

Я свободно высказываю свое мнение обо всем, даже о вещах, превосходящих иногда мое понимание и совершенно не относящихся к моему ведению. Мое мнение о них не есть мера самих вещей, оно лишь должно разъяснить, в какой мере я вижу эти вещи. Когда во мне вызывает отвращение, как произведение слабое, «Аксиох»⁴⁹ Платона, то, учитывая имя автора, мой ум не доверяет себе: он не настолько глуп, чтобы противопоставлять себя авторитету стольких выдающихся мужей древности, которых он считает своими учителями и наставниками и вместе с которыми он готов ошибаться...

Однако, возвращаясь к прерванной нити изложения, скажу: мне всегда казалось, что в поэзии издавна первое место занимают Вергилий, Лукреций, Катулл и Гораций, в особенности «Георгики»

Вергилия, которые я считаю самым совершенным поэтическим произведением; при сравнении их с «Энеидой» нетрудно убедиться, что в ней имеется ряд мест, которые автор несомненно еще отделил бы, если бы у него был досуг. Наиболее совершенной мне представляется пятая книга «Энеиды»...

Что касается любезного Теренция, нежной прелести и изящества его латинского языка, то я нахожу, что он превосходит в верном изображении душевных движений и состояния нравов; наши поступки то и дело заставляют меня возвращаться к нему. Сколько бы раз я его ни читал, я всегда нахожу в нем новую прелесть и изящество...

Я вижу, что прекрасные античные поэты избегали не только напыщенности и причудливой выпренности испанцев или петраркистов, но даже тех умеренных изощренностей, которые являются украшением всех поэтических творений позднейшего времени. Всякий тонкий знаток сожалеет, встречая их у античного поэта, и несравненно больше восхищается цветущей красотой и неизменной гладкостью эпиграмм Катуллы, чем теми едкими остротами, которыми Марциал уснащает концовки своих эпиграмм. Это и побудило меня высказать выше то же соображение, которое Марциал высказывал применительно к себе, а именно: *minus illi ingenio laborandum fuit, in cuius locum materia successerat*⁵⁰. Поэты первого рода без всякого напряжения и усилий легко проявляют свой

талант: у них всегда есть над чем посмеяться, им не нужно щекотать себя, поэты же нового времени нуждаются в посторонней помощи. Чем у них меньше таланта, тем важнее для них сюжет. Они взбираются на коня, потому что чувствуют себя недостаточно твердо, стоя на собственных ногах. Это совершенно похоже на то, что можно наблюдать у нас на балах, когда люди простого звания, не обладая хорошими манерами нашего дворянства, стараются отличиться какими-нибудь рискованными прыжками или другими необычными движениями и фокусами...

В правильности высказанного мною выше суждения можно лучше всего убедиться, если сравнить «Энеиду» с «Неистовым Роландом». Стих Вергилия уверенно парит в высоте и неизменно следует своему пути; что же касается Тассо, то он порхает и перепархивает с одного сюжета на другой, точно с ветки на ветку; на свои крылья он полагается лишь для очень короткого перелета и делает остановки в конце каждого эпизода, боясь, что у него слишком короткое дыхание и не хватит сил: *Excursusgue breves tentat*⁵¹.

Вот авторы, которые мне больше всего нравятся в этих литературных жанрах.

Что же касается другого круга моего чтения, при котором удовольствие сочетается с несколько большей пользой, так как с мощью этих книг я учусь развивать свои мысли и понятия, то сюда относятся произведения Плутарха — с тех пор как он переведен на французский язык — и Сенеки.

Оба эти автора обладают тем важнейшим для меня достоинством, что та наука, которую я в них и ищу, дана у них не в систематическом изложении, а в отдельных очерках, поэтому для одоления их не требуется упорного труда, к которому я не способен. . .

Плутарх придерживается взглядов Платона, терпимых и подходящих для гражданского общества, Сенека же — сторонник стоических и эпикурейских воззрений, значительно менее удобных для общества, но, по-моему, более пригодных для отдельного человека и более стойких. Похоже на то, что Сенека до известной степени порицает тиранию императоров своего времени, ибо когда он осуждает дело благородных убийц Цезаря, то я убежден, что это с его стороны вынужденное суждение; Плутарх же всегда свободен в своих высказываниях. Писания Сенеки пронизаны живостью и остроумием, писания Плутарха — содержательностью. Сенека вас больше возбуждает и волнует, Плутарх вас больше удовлетворяет и лучше вознаграждает. Плутарх ведет нас за собой. Сенека нас толкает.

Что касается Цицерона, то для моей цели могут служить те из его произведений, которые трактуют вопросы так называемой нравственной философии. Но, говоря прямо и откровенно (а ведь когда стыд преодолен, то больше себя не сдерживаешь), его писательская манера мне представляется скучной, как и всякие другие писания в таком же роде. Действительно, подразделения, пре-

дисловия, определения, словопроизводство занимают бóльшую часть его писаний, и та доля сердцевины и существенного, что в них имеется, теряется из-за этих длинных приготовлений. Когда я, потратив час на чтение его — что для меня много, — начинаю перебирать, что́ я извлек из него путного, то в большинстве случаев обнаруживаю, что ровным счетом ничего, ибо он еще не перешел к обоснованию своих положений и не добрался до того узлового пункта, который я ищу. Для меня, который хочет стать только более мудрым, а не более ученым или красноречивым, эти логические и аристотелевские подразделения совершенно ни к чему: я хочу, чтобы начинали с последнего, самого важного пункта; я достаточно понимаю, что такое наслаждение и что такое смерть, — пусть не тратят времени на копанье в этом: я ищу прежде всего убедительных, веских доводов, которые научили бы меня справляться с этими вещами. Ни грамматические ухищрения, ни остроумные словосочетания и тонкости здесь ни к чему: я хочу суждений, которые затрагивали бы самую суть дела, между тем как Цицерон ходит вокруг да около. Его манера хороша для школы, для адвокатской речи, для проповеди, когда мы можем себе позволить вздремнуть немного и еще через четверть часа вполне успеем уловить нить изложения. Так следует разговаривать с судьями, которых не мытьем, так катаньем хотят склонить на свою сторону, с детьми и с простым народом, кото-



рому надо рассказывать обо всем, чтобы его пронять.

Историки составляют мое излюбленное чтение⁵², занимательное и легкое; тем более, что человек вообще, к познанию которого я стремлюсь, выступает в их писаниях в более ярком и более цельном освещении, чем где бы то ни было; мы видим разнообразие и действительность его внутренних свойств как в целом, так и в подробностях, многообразии средств, которыми он пользуется, и бедствий, которые ему угрожают. Мне более близки историки, дающие жизнеописания, ибо они больше останавливаются на намерениях, чем на происшествиях, и больше задерживаются на том, что происходит внутри, чем на том, что совершается снаружи. Вот почему Плутарх — историк во всех отношениях в моем вкусе. Мне очень жаль, что у нас нет десятка Диогенов Лаэртиев⁵³ или нет хотя бы одного более пространныго и объемистого. Ибо меня не в меньшей степени интересует судьба и жизнь этих великих наставников человечества, чем их различные учения и взгляды. . .



Я не жалею мертвецов, я скорее готов им завидовать, но я от души жалею людей, находящихся при смерти. Меня возмущают не те дикари, которые жарят и потом едят покойников, а те, которые мучают и преследуют живых людей. Я не могу спокойно переносить казни, даже если они совершаются по закону и оправданны...

Мне приходится жить в такое время, когда вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости, вызванных разложением, порожденным нашими гражданскими войнами; в старинных летописях мы не найдем рассказов о более страшных вещах, чем те, что творятся сейчас у нас повседневно. Однако это ни в какой степени не приучило меня к жестокости, не заставило с нею свыкнуться. Я не в состоянии был поверить, пока не увидел сам, что существуют такие чудовища в образе людей, которые рады убивать ради удовольствия, доставляемого им убийством, которые рады рубить и кромсать на части тела других людей и изощряться в придумывании необыкновенных пыток и смертей⁵⁴; при этом они не получают от этого никаких выгод и не питают вражды к своим жертвам, а поступают так только ради того, чтобы насладиться приятным для них зрелищем умирающего в муках человека, чтобы слышать его жалобные стоны и вопли. Вот поистине вершина, которой может достигнуть жестокость...

Что касается меня, то мне всегда было тяго-

стно наблюдать, как преследуют и убивают невинное животное, беззащитное и не причиняющее нам никакого зла⁵⁵. Я никогда не мог спокойно видеть, как затравленный олень — что нередко бывает, — едва дыша и изнемогая, откидывается назад и сдается тем, кто его преследует, моля их своими слезами о пощаде...

Это всегда казалось мне невыносимым зрелищем.

Я никогда не держу у себя пойманных животных и всегда отпускаю их на свободу. Пифагор покупал у рыбаков рыб, а у птицеловов — птиц, чтобы сделать то же самое...

Кровожадные наклонности по отношению к животным свидетельствуют о природной склонности к жестокости.

После того как в Риме привыкли к зрелищу убийства животных, перешли к зрелищам с убийством и осужденных, и гладиаторов...



... **В** хорошенькой небылице хотел уверить нас Протагор, утверждавший, будто мерой всех вещей является тот самый человек, который никогда не мог познать даже своей собственной меры. Если же не сам человек является этой мерой, то его достоинство не позволяет ему наделить этим преимуществом какое-нибудь другое создание. Но поскольку человек так противоречив и одно утверждение постоянно опровергается у него другим, приходится признать, что легкое для человека суждение Протагора является лишь насмешкой: оно неизбежно приводит нас к выводу о негодности как предлагаемой меры, так и того, кто производит измерение.

Когда Фалес утверждает, что человеку очень трудно познать самого себя, он тем самым учит его тому, что познание всякой другой вещи для человека невозможно.

Раймунд Сабундский (ум. в 1432 году) — испанский богослов, автор сочинения «Естественная теология», которое Моитень по просьбе своего отца перевел в 1569 году на французский язык.



Хрисипп и Диоген были первыми авторами — и притом наиболее последовательными и непреклонными, — выразившими презрение к славе. Среди всех наслаждений, говорили они, нет более губительного, чем одобрение со стороны, нет никакого другого, от которого нужно было бы так же бежать. И действительно, как показывает нам опыт, вред, проистекающий от подобного одобрения, необъятен: нет ничего, что в такой мере отравляло бы государей, как лесть, ничего, что позволяло бы дурным людям с такой легкостью добиваться доверия окружающих; и никакое сводничество не способно так ловко и с таким неизменным успехом совращать целомудренных женщин, как расточаемые им и столь лакомые для них похвалы. Первая приманка, использованная сиренами, чтобы завлечь Одиссея, была такого же рода:

К нам Одиссей богоравный, великая слава ахеян,
К нам кораблем подойди. . .

Эти философы говорили, что слава целого мира не заслуживает того, чтобы мыслящий человек протянул к ней хотя бы один палец. . .

Я говорю лишь о славе самой по себе, ибо нередко она приносит с собой кое-какие жизненные удобства, благодаря которым может стать желанной для нас: она снискивает нам всеобщее благоволение и ограждает хоть в некоторой мере от несправедливости и нападков со стороны других людей и так далее.

О славе

Такое отношение к славе было одним из главнейших положений учения Эпикура. Ведь предписание его школы: «Живи незаметно», воспрещающее людям брать на себя исполнение общественных должностей и обязанностей, необходимо предполагает презрение к славе, которая есть не что иное, как одобрение окружающими наших поступков, совершаемых у них на глазах. Кто велит нам таиться и не заботиться ни о чем, кроме как о себе, кто не хочет, чтобы мы были известны другим, тот еще меньше хочет, чтобы нас окружали почет и слава. И он советует Идоменею⁵⁶ не руководствоваться в своих поступках общепринятыми мнениями и взглядами, отступая от этого правила только затем, чтобы не навлекать на себя неприятностей, которые может доставить ему при случае людское презрение.

Эти рассуждения, на мой взгляд, поразительно правильны и разумны, но нам — почему, я и сам не знаю — свойственна двойственность, и отсюда проистекает, что мы верим тому, чему вовсе не верим, и не в силах отделаться от того, что всячески осуждаем. . .

Карнеад был главой тех, что держался противоположного мнения. Он утверждал, что слава желанна сама по себе, совершенно так же, как мы любим наших потомков исключительно ради них, не зная их и не извлекая из этого никакой выгоды для себя. Эти взгляды встретили всеобщее одобрение, ибо люди охотно принимают то, что наилучшим образом отвечает их склонностям. Ари-

стотель предоставляет славе первое место среди остальных внешних благ. Он говорит: избегай, как порочных крайностей, неумеренности и в стремлении к славе, и в уклонении от нее.

Добродетель была бы вещью слишком суетной и легковесной, если бы ценность ее основывалась только на славе. И бесплодными были бы в таком случае наши попытки предоставить ей особое, подобающее ей место, отделив ее от удачи, ибо есть ли еще что-нибудь столь же случайное, как известность? *Profecto fortuna in omni re dominatur; ea res cunctas ex libidine magis, quam ex vero, celebrat, obscuratque*⁵⁷.

Распространять молву о наших деяниях и выставлять их напоказ — это дело голрой удачи: судьба дарует нам славу по своему произволу. Я не раз видел, что слава опережает заслуги, и не раз — что она безмерно превышает их. Кто первый заметил ее сходство с тенью, тот высказал нечто большее, чем хотел; и та и другая исключительно прихотливы: и тень также порою идет впереди тела, которое отбрасывает ее, порою и она также намного превосходит его своею длиною. Те, которые поучают дворян быть доблестными только ради почета, — чему они учат, как не тому, чтобы человек никогда не подвергал себя опасности, если его не видят другие, и всегда заботился о том, чтобы были свидетели, которые могли бы потом рассказать о его храбрости, — и это в таких случаях, когда представляется тысяча возможностей совершить нечто доблестное, оставаясь незамечен-

ным? Сколько прекраснейших подвигов отдельных людей погребается в сумятице битвы! И кто предается наблюдению за другими в разгар такой схватки, тот, очевидно, остается в ней праздным, и, свидетельствуя о поведении своих товарищей по оружию, свидетельствует тем самым против себя...

Вся слава, на которую я притязую, — это слава о том, что я прожил свою жизнь спокойно, и притом прожил ее спокойно не по Метродору⁵⁸, Аркесилаю⁵⁹ или Аристиппу⁶⁰, но по своему разумению. Ибо философия так и не смогла найти такой путь к спокойствию, который был бы хорош для всех, и всякому приходится искать его на свой лад.

Чему обязаны Цезарь и Александр бесконечным величием своей славы, как не удаче? Сколько людей предавала фортуна в самом начале их жизненного пути! Сколько было таких, о которых мы ровно ничего не знаем, хотя они проявили бы не меньшую доблесть, если бы горестный жребий не пресек их деяний, можно сказать, при их зарождении? Пройдя через столько угрожавших его жизни опасностей, Цезарь, сколько я помню из того, что прочел о нем, ни разу не был ранен, а между тем тысячи людей погибли при гораздо меньшей опасности, нежели наименьшая, которую он преодолел. Бесчисленное множество прекраснейших подвигов не оставило по себе ни малейшего следа, и только редчайшие из них удостоились признания...

Кто порядочен только ради того, чтобы об этом узнали другие и, узнав, стали бы питать к нему большее уважение, кто творит добрые дела лишь при условии, чтобы его добродетели стали известны, — от того нельзя ожидать слишком многого...

Нужно идти на войну ради исполнения своего долга и терпеливо дожидаться той награды, которая всегда следует за каждым добрым делом, сколь бы оно ни было скрыто от людских взоров, и даже за всякой добродетельной мыслью; эта награда заключается в чувстве удовлетворения, доставляемого нам чистой совестью, сознанием, что мы поступили хорошо. Нужно быть доблестным ради себя самого и ради того преимущества, которое состоит в душевной твердости, уверенно противостоящей всяким ударам судьбы...

Совсем не для того, чтобы выставлять себя на показ, должна наша душа быть стойкой и добродетельной; нет, она должна быть такою для нас, в нас самих, куда не проникает ничей взор, кроме нашего собственного. Это она научает нас не бояться смерти, страданий и даже позора; она дает нам силы переносить потерю наших детей, друзей и нашего состояния; и, когда представляется случай, она же побуждает нас дерзать среди опасностей боя, *non emolumento aliquo, sed ipsius honestatis decore*⁶¹. Это — выгода гораздо бóльшая, и жаждать, и чаять ее гораздо достойнее, чем тянуться к почету и славе, которые в конце концов

не что иное, как благосклонное суждение других людей о нас.

Никакая изворотливость, никакая гибкость ума не могли бы направить наши шаги, вздумай мы следовать за столь беспорядочным и бестолковым вожатым; среди всей этой сумятицы слухов, болтовни и легковесных суждений, которые теребят и путают нас, невозможно избрать себе сколько-нибудь толковую дорогу. Не будем же ставить себе такой переменчивой и неустойчивой цели; давайте неуклонно идти за разумом, и пусть общественное одобрение, если ему будет угодно, последует за нами на этом пути. И так как оно зависит исключительно от удачи, то у нас нет решительно никаких оснований считать, что мы обретем его скорее на каком-либо другом пути, чем на этом. . .

Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, сколько о том, каков я сам по себе. Я хочу быть богат собственным, а не заемным богатством. Посторонние видят лишь внешность событий и вещей; между тем всякий имеет возможность изобрать невозмутимость и стойкость даже в тех случаях, когда внутри он во власти страха и весь в лихорадке; таким образом, люди не видят моего сердца, они видят лишь надетую мною маску. И правы те, кто обличает процветающее на войне лицемерие, ибо что же может быть для ловкого человека проще, чем избегать опасностей и одновременно выдавать себя за первого смельчака, не смотря на то что сердце его исполнено трусости?

Есть столько случаев уклоняться от положений, связанных с личным риском, что мы тысячу раз успеем обмануть целый мир, прежде чем ввяжемся в какое-нибудь по-настоящему смелое дело. Но и тут, обнаружив, что нам больше не отвертеться, мы сумеем и на этот раз прикрыть нашу игру соответствующей личиною и решительными словами, хотя душа наша и уходит при этом в пятки...

... **Ч**то до ловкости и до живости, то их я никогда не знал за собой. Я — сын отца, паразитально живого и сохранявшего бодрость вплоть до глубокой старости. И не было человека его круга и положения, который мог бы сравняться с ним в телесных упражнениях разного рода, в чем бы они ни состояли, точно так же как не было человека, который не превзошел бы меня в этом деле. Исключение составляет, пожалуй, лишь один бег: тут я был в числе средних. Что касается музыки, то ни пению, к которому я оказался совершенно не способен, ни игре на каком-либо инструменте меня так и не смогли обучить. В танцах, игре в мяч, борьбе я никогда не достигал ничего большего, чем самой что ни на есть заурядной посредственности. Ну, а в плавании, искусстве верховой езды и прыжках я и вовсе ничего не достиг. Руки мои до того неловки, неуклюжи, что я не в состоянии сколько-нибудь прилично писать

Самознания

даже для себя самого, и случается, что, нацарапав кое-как что-нибудь, я предпочитаю написать то же самое заново, чем разбирать и исправлять свою мазню. Да и читаю я вслух нисколько не лучше: я чувствую, что усыпляю слушателей. Словом, я великий грамотей! Я не умею правильно запечатать письмо и никогда не умел чинить перья; не умел я также ни подобающим образом пользоваться ножом за едой, ни взнуздывать и седлать лошадь, ни носить на руке и спускать сокола, ни разговаривать с собаками, ловчими птицами и лошадьми. Моим телесным свойствам соответствуют, в общем, и свойства моей души. Моим чувствам так же неведома настоящая живость, они так же отличаются лишь силой и стойкостью. Я выносив и легко переношу всякого рода тяготы, но выносив я только тогда, когда считаю это необходимым, и только до тех пор, пока меня побуждает к этому мое собственное желание...

Иначе говоря, если меня не манит предвкушаемое мной удовольствие и если мной руководит нечто другое, а не моя собственная свободная воля, я ничего не стою, ибо я таков, что, помимо здоровья и жизни, нет ни одной вещи на свете, ради которой я стал бы грызть себе ногти и которую готов был бы купить ценою душевных мук и насилия над собой...

До крайности ленивый, до крайности любящий свободу и по своему характеру, и по убеждению, я охотнее отдам свою кровь, чем лишний раз пошевелю бровью. Душа моя жаждет свободы и при-

надлежит лишь себе и никому больше; она привыкла распоряжаться собой по собственному усмотрению. Не зная над собой до этого часа ни начальства, ни навязанного мне господина, я беспрепятственно шел по избранному мной пути, и притом тем шагом, который мне нравился. Это меня изнежило и сделало непригодным к службе другому.

У меня не было никакой нужды насиловать мой характер — мою тяжеловесность, любовь к праздности и безделью, — ибо, оказавшись со дня рождения на такой ступени благополучия, что я счел возможным остановиться на ней, и на такой ступени здравомыслия, что это оказалось возможным, я ничего не искал и ничего не обрел. . .

Я нуждался для этого лишь в одном — в способности довольствоваться своей судьбой, то есть в таком душевном состоянии, которое, говоря по правде, вещь одинаково редкая среди людей всякого состояния и положения, но на практике чаще встречающаяся среди бедняков, чем среди людей состоятельных. И причина этого, надо полагать, заключается в том, что жажда обогащения, подобно всем другим страстям, владеющим человеком, становится более жгучей, когда человек уже испробовал, что такое богатство, чем тогда, когда он вовсе не знал его; а кроме того, добродетель умеренности встречается много реже, чем добродетель терпения. Я не нуждаюсь ни в чем, кроме того, чтобы мирно наслаждаться благами, вложенными мне в руки господом богом от неисповедимых

щедрот его. Мне никогда не случалось нести какого-нибудь тягостного труда. Мне почти всегда приходилось заниматься лишь собственными делами; а если порою и доводилось брать на себя чужие дела, то соглашался я на это только с тем условием, что буду вести их в удобное для меня время и на мой собственный лад. Так оно и бывало в действительности, поскольку дела эти поручали мне люди, исполненные ко мне доверия, знавшие, что я представляю собой, и не толкавшие меня в спину. Ведь люди умелые извлекают кое-какую пользу даже из строптивой и норовистой лошади.

Даже мое детство протекало в условиях исключительно благоприятных и нестеснительных: ему было совершенно неведомо строгое подчинение чужой воле. Все это, вместе взятое, воспитало во мне мягкость характера и сделало меня неустойчивым пред лицом неприятностей, и я неизменно бываю рад, когда от меня скрывают мои убытки и неполадки в хозяйстве, способные задеть меня за живое. В графу моих расходов я вношу также и то, что, по моей нерадивости, было истрачено лишнего на прокорм и содержание моих слуг...

Я предпочитаю не вести счет тому, что имею, лишь бы не быть в точности осведомленным о понесенных мною убытках; и я прошу тех, кто живет вместе со мной, чтобы в тех случаях, когда они не испытывают ко мне чувства признательности и обманывают меня, они делали это, хороня

концы в воду. Не располагая достаточной твердостью, чтобы выносить докучливую возню с различными обступающими нас со всех сторон заботами, и не умея постоянно напрягать свою волю, чтобы устраивать и улаживать мои дела так, как мне того бы хотелось, я, полагаясь во всем на судьбу, укрепил в себе, насколько это было для меня достижимо, следующее правило: «Ожидать всего самого худшего и, в случае если это худшее грянет, мужественно переносить его с кротостью и терпением». Только к этому я и стремлюсь, именно к этому клонят все мои рассуждения.

Когда мне угрожает опасность, я думаю не столько о том, как избежать ее, сколько о том, до чего, в сущности, неважно, удастся ли мне ее избежать. Ну, а если она настигнет меня, что из этого? Не располагая возможностью воздействовать на события, я действую на себя самого, и я покорно иду за ними, раз не могу заставить их идти за собой. Я никогда не был искусен в том, чтобы отводить от себя удары судьбы, уклоняться от них или заставлять ее силой делать угодное мне, как никогда не умел также устраивать свои дела подобающим образом, руководствуясь голосом благоразумия. Еще в меньшей мере я обладаю выносливостью, чтобы смиряться с мучительными и тягостными заботами, которые необходимы для этого. И наиболее мучительное для меня состояние — это пребывать в обстоятельствах, которые нависают надо мной и теснят меня, а также метаться между надеждой и страхом.

Долго раздумывать над каким-либо делом, хотя бы самым пустячным, — занятие, для меня совершенно несносное, и я ощущаю мой ум подавленным неизмеримо сильнее, когда ему приходится претерпевать шатания и толчки, порождаемые неуверенностью и сомнениями, чем когда, свободный от колебаний, он принимает, полагаясь на счастье, то или иное окончательное решение, в чем бы оно ни состояло. Лишь немногие страсти нарушали мой сон, но что до раздумий, то даже самое легкое безнадежно расстраивает его. Точно так же я не люблю покатых и скользких обочин дороги, а охотнее всего пользуюсь ее самой наезженной частью, хотя она и наиболее грязная, и наиболее вязкая, ибо, стремясь к безопасности, я могу быть уверен, что отсюда я уже никуда не свалюсь. Равным образом я предпочитаю явные бедствия, ибо тут по крайней мере меня не томит неизвестность — пройдут ли они стороной или нет; лучше уж пусть судьба одним махом свергнет меня в страдание. . .

Когда приходит беда, я встречаю ее, как подобает мужчине, но во всех иных обстоятельствах я веду себя как сущий младенец. Страх перед возможным падением причиняет мне более пагубную горячку, чем та, которую может причинить самый ушиб. Игра не стоит свеч. Скупцу его страсть доставляет мучения, которых не знает бедняк, а ревнивцу его страсть — муки, неизвестные рогоносцу. И нередко меньшее зло потерять виноградник, чем тягаться из-за него в суде.

Самая низкая ступенька — самая прочная: она — основа устойчивости всей лестницы. Стоя на ней, можно ни о чем не тревожиться; будучи вделана накрепко, она служит опорой всему остальному...

Что касается честолюбия, которое — ближайший сосед самолюбию или, скорее, дитя его, то для того, чтобы раскалить во мне эту страсть, пришлось бы, пожалуй, самому счастью схватить меня за руку. Ибо навязать ради зыбкой надежды заботу на шею и подвергать себя бесчисленным тяготам, неизбежным вначале для всякого, кто жаждет возвыситься над другими, — нет, это отнюдь не по мне...

Я цепляюсь за то, что явственно вижу и чем обладаю, и никогда не удаляюсь от моей гавани...

И к тому же мало кому удастся достигнуть чего-нибудь, не рискуя предварительно своим кровным добром; и я считаю, что если его достаточно, чтобы поддерживать свое существование в тех же условиях, в каких ты родился и вырос, то совершеннейшее безумие терять то, что имеешь, в шатком расчете на возможность приобрести большее. Тому, кому судьба отказала в местечке, на которое он мог бы поставить ноги и обеспечить себе спокойную и беззаботную жизнь, тому простительно рисковать тем, чем он владеет, поскольку так ли, иначе ли, а нужда все равно заставит его пуститься в погоню за счастьем.

И я скорее готов оправдать младшего сына,

бросающего на ветер свою законную долю⁶², чем старшего, который, являясь блюстителем чести своего рода, сам доводит себя до разорения...

Сопоставляя себя с людьми моего времени, я готов находить в себе нечто значительное и редкостное, подобно тому как я кажусь себе пигмеем и самой обыденной личностью, сопоставляя себя с людьми неких минувших веков, когда было вещь самою что ни на есть обычною, если к этому не присоединялись другие, более похвальные качества, видеть людей умеренных в жажде мести, снисходительных по отношению к тем, кто нанес им оскорбление, неукоснительных в соблюдении данного ими слова, не двуличных, не податливых, не приспособляющих своих взглядов к воле другого и к изменчивым обстоятельствам. Я скорее предпочту, чтобы все мои дела пошли прахом, чем поступлюсь убеждениями ради своего успеха, ибо эту новомодную добродетель притворства и лицемерия я ненавижу самой лютой ненавистью, а из всех возможных пороков не знаю другого, который с такой же очевидностью уличал бы в подлости и низости человеческие сердца. Это повадки раба и труса — скрываться и прятаться под личиной, не осмеливаясь показаться перед нами таким, каков ты в действительности. Этим путем наши современники приучают себя к вероломству. Будучи вынуждены к лживым посулам и обещаниям, они не испытывают ни малейших укоров совести, пренебрегая их исполнением. Благородное сердце не должно таить свои побуждения. Оно хочет, чтобы

его видели до самых глубин; в нем все хорошо или, по меньшей мере, все человечно.

Аристотель считает, что душевное величие заключается в том, чтобы одинаково открыто выказывать и ненависть, и любовь, чтобы судить и говорить о чем бы то ни было с полнейшей искренностью и, цenia истину превыше всего, не обращать внимания на одобрения и порицания, исходящие от других. Аполлоний сказал, что ложь — это удел раба, свободным же людям подобает говорить голую правду.

Первое и основное правило добродетелей: ее нужно любить ради нее самой. Тот, кто говорит правду потому, что в силу каких-то посторонних причин вынужден к этому, или потому, что так для него полезнее, и кто не боится лгать, когда это вполне безопасно, того нельзя назвать человеком вполне правдивым. Моя душа по своему складу чуждается лжи и испытывает отвращение при одной мысли о ней; я сгораю от внутреннего стыда и меня точит совесть, если порой у меня вырывается ложь, а это иногда все же бывает, когда меня неожиданно увлекают за собой обстоятельства, не дающие мне опомниться и осмотреться.

Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что думаешь, — это было бы глупостью, но все, что бы ты ни сказал, должно отвечать своим мыслям; в противном случае это — злостный обман. Я не знаю, какой выгоды ждут для себя те, кто без конца лжет и притворяется; на мой взгляд,

единственное, что их ожидает, так это то, что если даже им случится сказать правду, им все равно никто не поверит.

Я со своей стороны предпочитаю быть скорее докучным и нескромным, чем льстецом и притворщиком. Готов признать, что когда держишься с такою искренностью и прямою, невзирая на лица, как это свойственно мне, то тут, быть может, примешивается также чуточку гордости и упрямства, и мне кажется, что я веду себя в большей неприужденности именно там, где это меньше всего подобает, и что путы, налагаемые на меня необходимы быть почтительным, горячат мою кровь. Впрочем, возможно и то, что я, по своей простоте, следую в этих случаях за своею природой. Позволяя себе в общении с властью имущими такую же вольность в речах и жестах, как если бы я имел дело с моими домашними, я очень хорошо понимаю, до чего это похоже на нескромность и неучтивость. Но, помимо того, что я создан таким, я не обладаю достаточно гибким умом, чтобы вилять при поставленном мне прямо вопросе и уклоняться от него при помощи какого-нибудь ловкого хода или исказить истину, как не обладаю также и достаточной памятью, чтобы удерживать в голове, каким образом эта истина была мною искажена, или уверенностью, чтобы упорно стоять на своем: короче говоря, я храбр от слабости.

Все, что я замечаю в себе по части памяти, я замечаю и относительно многого другого: я не выношу подчинения, обязательств и насилия над со-

бой. То, что я делаю легко и естественно, того мне больше не сделать, начни я побуждать себя к этому настойчивыми и властными понуканиями. То же самое могу я сказать и о моем теле, члены которого, если они обладают хоть малейшей свободой и возможностью распоряжаться собой, отказывают мне порою в повиновении, когда я заранее предписываю им обслужить меня в определенных обстоятельствах и в определенный час. Это наперед отданное им приказание, твердое и властное, внушает им отвращение: они сжимаются от страха или неудовольствия и цепенеют.

Не знаю, как это так получается, — а что так получается, это бесспорно, — но только в тех, кто ставит своей неизменной целью домогаться возможно большей учености, кто берется за писание ученых трудов и за другие дела, требующие постоянного общения с книгами, — в тех обнаруживается столько чванства и умственного бессилия, как ни в какой другой породе людей. Быть может, это получается оттого, что в них ищут и от них ожидают большего, чем от других людей, и им не прощаются общераспространенные недостатки; или, может быть, сознание собственной учености придает им смелость выставлять себя напоказ и важничать, чем они выдают себя и сами себе причиняют ущерб. Так и ремесленник обнаруживает свою неумелость гораздо отчетливее тогда, когда в его руки попадает ценный материал, который он портит своей бестолковой и грубой работой, чем когда ему приходится иметь дело с простым ма-

териалом: недостатки в золотом изваянии раздражают нас гораздо сильнее, нежели в гипсовом.

Наименее недостойным представляется мне то сословие, которое по причине своей простоты занимает последнее место; больше того, его жизнь кажется мне наиболее упорядоченной: нравы и речи крестьян я, как правило, нахожу более отвечающими предписаниям истинной философии, чем нравы и речи наших присяжных философов. *Plus sapit vulgus, quia tantum, quantum opus est, sapit*⁶³.

О чем бы ни писал Плутарх, он всегда восхитителен, но особенно в своих суждениях о человеческих поступках. Взять, например, его замечательные суждения, высказанные в его сравнении Ликурга с Нумой по поводу того, как нелепо оставлять детей на попечении и воспитании родителей. В большинстве государств, как указывает Аристотель, всякому отцу семейства предоставляется — все равно как у циклопов — воспитывать жен и детей, как им вздумается, и только в Спарте и на Крите воспитание детей ведется по установленным законам. Кому не ясно, какое важнейшее значение имеет для государства воспитание детей? И тем не менее без долгих размышлений детей оставляют на произвол родителей, какими бы вбалмошными и дурными людьми они ни были.

О жене

Сколько раз, проходя по улицам, я испытывал желание устроить скандал, заступившись за какого-нибудь малыша, которого потерявший от гнева голову отец или мать колошматят, дубасят, избивают чуть ли не до смерти!..

А ведь, согласно Гиппократу, самые опасные болезни это те, что искажают лица. Послушайте только, как неистово они орут на малютку, недавно, может быть, вышедшего из пеленок. В результате дети бывают покалечены или навсегда оглушены ударами; а наше законодательство не обращает на это ни малейшего внимания, как если бы эти вывихнутые суставы не принадлежали членам нашего общества... .

Ни одна страсть не помрачает в такой мере ясность, суждения, как гнев. Никто не усомнится в том, что судья, вынесший обвиняемому приговор в припадке гнева, сам заслуживает смертного приговора. Почему же, в таком случае, отцам и школьным учителям разрешается сечь и наказывать детей, когда они обуреваемы гневом? Ведь это не обучение, а месть. Наказание должно служить для детей лечением, но ведь не призвали бы мы к больному врача, который пылал бы к нему яростью и гневом... .



... **М**еня не обуревают ни страстная ненависть, ни страстная любовь к великим мира сего, и воля моя не зажата в тиски ни нанесенным ей оскорблением, ни чувством особой признательности. Что касается наших государей, то я почитаю их лишь как подданный и гражданин, и мое чувство к ним свободно от всякой корысти. За это я приношу себе великую благодарность. Даже общему и правому делу я привержен не более чем умеренно, и оно не порождает во мне особого пыла. Я не склонен к всепоглощающим и самозабвенным привязанностям, а также к самопожертвованию: долг справедливости отнюдь не требует от нас гнева и ненависти; это страсти, пригодные только для тех, кто не способен придерживаться своего долга, следуя велениям разума; все законные и праведные намерения по своей сущности справедливы и умеренны, в противном случае они мятежны и незаконны. Это и позволяет мне ходить везде и всюду с высоко поднятой головой, открытым лицом и открытым сердцем...

... **Р**азумно ли, что при сугубо частном образе жизни я притязая на общественную известность? И разумно ли преподносить миру, где форма и мастерство так почитаемы и всеильны, сырые и нехитрые продукты природы, и природы к тому же изрядно хилой? Сочинять книги без знаний и мастерства не означает ли то

же самое, что класть крепостную стену без камней или что-либо в этом же роде? Воображение музыканта направляется предписаниями искусства, мое — прихотью случая. Но применительно к науке, которая меня занимает, за мной, по крайней мере, то преимущество, что никогда ни один человек, знающий и понимающий свой предмет, не рассматривал его доскональнее, чем я — свой, и в этом смысле я самый ученый человек из всех живущих на свете; во-вторых, никто никогда не проник так глубоко в свою тему, никто так подробно и тщательно не исследовал всех ее частных и существующих между ними связей и никто не достигал с большей полнотой и завершенностью цели, которую ставил себе, работая. Чтобы справиться с нею, мне нужна только правдивость; а она налицо, и притом самая искренняя и бесприимесная, какая только возможна. Я говорю правду не всегда до конца, но настолько, насколько осмеливаюсь, а с возрастом я становлюсь смелее, ибо обычай, кажется, предоставляет старикам большую свободу болтать и, не впадая в нескромность, говорить о себе. Здесь не может произойти то, что происходит, как я вижу, довольно часто, а именно, что работник и его труд несоразмерны друг другу: как это человек, столь разумный в речах, написал столь нелепое сочинение? Или каким образом столь ученые сочинения вышли из-под пера человека, столь немошного в речах?

Если у кого-нибудь речь обыденна, а сочинения примечательны — это значит, что дарования

его там, откуда он их заимствует, а не в нем самом. Сведущий человек не бывает равно сведущ во всем, но способный — способен во всем, даже пребывая в невежестве.

Здесь мы идем вровень и всегда в ногу — моя книга и я. В других случаях можно хвалить или, наоборот, порицать работу независимо от работника; здесь — это исключено: кто касается одной, тот касается и другого. Кто возьмется судить о работе, не зная работника, тот причинит больше ущерба себе, нежели мне: кто предварительно узнает его, тот сполна удовлетворит меня. Но я буду незаслуженно счастлив, если получу общественное одобрение хотя бы только за то, что дал почувствовать мыслящим людям свое умение с толком употреблять мои знания — если таковые у меня есть, — доказал им, что я стою того, чтобы память служила мне лучше.

Прошу меня извинить за слишком частые упоминания о том, что я редко раскаиваюсь в чем бы то ни было и что моя совесть, в общем, довольна собой, не так, как совесть ангела или, скажем, лошади, но так, как может быть довольна собой человеческая совесть; я постоянно повторяю ниже следующие слова не как пустую формулу вежливости, а как нечто, идущее от непосредственного ощущения мною своей ничтожности: все, что я говорю, я говорю как ищущий и неведающий, бесхитростно и с чистой душой опираясь на общераспространенные и законные верования. Я отнюдь не поучаю, я только рассказываю. . .

Искать опоры в одобрении окружающих, видя в нем воздаяние за добродетельные поступки, — значит опираться на то, что крайне шатко и валко. А в наше развращенное, погрязшее в невежестве время добрая слава в народе, можно сказать, даже оскорбительна: ведь кому можно доверить оценку того, что именно заслуживает похвалы? Да сохранит меня бог быть порядочным человеком в духе тех описаний, которые, как я вижу, что ни день каждый сочиняет во славу себе самому. *Quae fuerant vitia, mores sunt* ⁶⁴.

Иные мои друзья или по личному побуждению, или вызванные на это мною не раз принимались с полною откровенностью журить и бранить меня, выполняя ту из своих обязанностей, которая благородной душе кажется не только полезнее, но и приятнее прочих обязанностей, возлагаемых на нас дружбою. Я всегда встречал эти упреки с величайшей терпимостью и искреннейшей признательностью. Но, говоря по совести, я частенько обнаруживал и в их порицаниях, и в их восхвалениях такое отсутствие меры, что не допустил бы, полагая, ошибки, предпочитая впасть в ошибки, чем проявлять благоразумие на их лад. Нашему брату, живущему частною жизнью, которая на виду лишь у нас самих, особенно нужно иметь перед собой некий образец, дабы равняться на него в наших поступках и, сопоставляя их с ним, то дарить себе ласку, то налагать на себя наказание. Для суда над самим собой я располагаю моими собственными законами и моей собственной судеб-

ной палатой, и я обращаюсь к ней чаще, чем куда бы то ни было. Сдерживая себя, я руководствуюсь мерою, предуказанной мне другими, но давая себе волю, руководствуясь лишь своей мерою. Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны или честны и благочестивы; другие вас вовсе не видят; они составляют себе о вас представление на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим. . .

Всякий располагает возможностью пофиглярствовать и изобразить на подмостках честного человека; но быть порядочным изнутри и в сердце своем, где все дозволено, где все шито-крыто, — вот поистине вершина возможного. Ближайшая ступень к этому — быть таким же у себя дома, в своих обыденных делах и поступках, в которых мы не обязаны давать кому-либо отчет и где свободны от искусственности и от притворства. . .

И доблесть Александра, явленная им на его прище, намного уступает, по-моему, доблести, которую проявил Сократ, чье существование было скромным и неприметным. Я легко могу представить себе Сократа на месте Александра, но Александра на месте Сократа я представить себе не могу. Если бы кто-нибудь спросил Александра, что он умеет делать, тот бы ответил: подчинять мир своей власти; если бы кто-нибудь обратился с тем же к Сократу, он несомненно сказал бы, что умеет жить, как подобает людям, то есть в соот-

ветствии с предписаниями природы, а для этого требуются более обширные, более глубокие и более полезные знания. Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной всегда и во всем.

Ее величие раскрывается не в великом, но в повседневном...

... **Л**юди, общества и дружбы которых я постоянно ищущу, — это так называемые порядочные и неглупые люди; их образ настолько мне по душе, что отвращает от всех остальных. Среди наших характеров такой, в сущности говоря, наиболее редок, и это — характер, обязательный своими чертами главным образом и чаще всего природе. Для подобных людей цель общения — быть между собой на короткой ноге, посещать друг друга и делиться друг с другом своими мыслями; это — соприкосновение душ, не преследующее никаких выгод. В наших беседах любые темы для меня равно хороши; мне безразлично, насколько они глубоки и существенны; ведь в них всегда есть изящество и приятность; на всем заметна печать зрелых и твердых суждений, все пропитано добросердечием, искренностью, живостью и дружелюбием. Не только в разговорах о новых законах раскрывает наш дух свою силу и красоту и не только тогда, когда речь идет о делах государей; он рас-

*От трех
видов
общения*

крывает те же самые качества и в непринужденных беседах на частные темы.

Я узнаю отвечающих моему вкусу людей даже по их молчанию и улыбке и успешнее нахожу их за пиршественным столом, чем в зале Совета. Гиппомах⁶⁵ утверждал, что, встречая на улице хороших борцов, он узнавал их исключительно по походке. Если ученость изъясляет желание принять участие в наших дружеских разговорах, она никоим образом не отвергается нами, — разумеется, при условии, что она не станет высокомерно и докучливо поучать, как это обычно бывает, а проявит стремление что-то познать и чему-то научиться. Нам нужно хорошо провести время — большего мы не ищем; когда же настанет наш час выслушать ее поучения и наставления, мы благоговейно припадаем к ее трону. А пока пусть она снизойдет до нашего уровня, если захочет, ибо сколь бы полезной и желательной она ни была, я заранее убежден, что мы сможем при случае отлично обойтись без нее и сделаем свое дело, не прибегая к ее услугам. Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука — не что иное, как протокол и опись творений, созданных подобными душами. . .



... **М**ужеством я вооружаюсь преимущественно для терпения, а не для достижения каких-либо желаний. Их у меня не меньше, чем у кого другого, и предоставляю я им не меньше свободы и самоуправления. Однако же мне и в голову не приходило мечтать ни о державе и престоле, ни о величии, которое обретаешь в столь высоком положении. Я на это не зарюсь, ибо слишком себя люблю. Если я и стремлюсь к росту, то не в высоту, и применяюсь ко всему, что ему препятствует: я хочу расти в том, что мне доступно, достигая большей решимости, рассудительности, привлекательности и даже богатства. Но всеобщий почет, но могущество власти подавляющим образом действуют на мое воображение...

Всякое естественное состояние есть тем самым и справедливое и наиболее удобное...

Самое, на мой взгляд, тягостное и трудное на свете дело — это достойно царствовать. Ошибки, совершаемые королями, я сужу более снисходительно, чем это вообще принято, ибо со страхом думаю о тяжком бремени, лежащем на властителях. Трудно соблюдать меру в могуществе столь безмерном. И надо сказать, что для добродетели тех из них, кто от природы менее благороден, величайшее испытание — занимать место, где нельзя сделать ничего хорошего так, чтобы это сразу же не было учтено и взвешено, где малейшее доброе дело, совершенное вами, касается стольких людей зараз и где своим внешним поведением вы воздействуете прежде всего на народ, судью недостаточ-

*О естественности
высокого
положения*

но справедливого, которого легко и обморочить и удовлетворить.

Мало есть на свете вещей, о которых мы способны высказать нелицемерное суждение, ибо среди них мало таких, которые так или иначе не вызвали в нас корысти. Более высокое или более низкое положение, владычество или подчиненность естественным образом вынуждают к соперничеству и спору, неизбежно и неизменно противостоят друг другу. Ни тому, ни другому не могу я верить, когда они судят о правах соперника: пусть же говорит разум, ибо он непоколебим и беспристрастен, когда мы ему доверяемся. . .

Тот, кто не подвержен случайностям и трудностям, не может также притязать на честь и радость, вознаграждающие за смелый поступок. Жалостная участь — обладать такой властью, что все перед вами склоняется. Высокая доля слишком далеко отбрасывает от вас других людей, препятствует их общению с вами, и вы оказываетесь в стороне от всех. Легкая, безо всяких усилий дающаяся возможность все себе подчинять враждебна какому бы то ни было удовольствию: это означает скользить, а не ходить, дремать, а не жить. Представьте себе человека, наделенного всемогуществом: оно бы умалило его; ведь он должен был бы, как милости, просить у вас, чтобы вы ставили ему препятствия и оказывали сопротивление; он беден и всем существом своим, и благами жизни. . .



Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума — по-моему, беседа. Из всех видов жизненной деятельности она для меня наиболее приятный. Вот почему, если бы меня принудили немедленно сделать выбор, я, наверно, предпочел бы скорее потерять зрение, чем слух или дар речи. Афиняне, а вслед за ними и римляне придавали в своих академиях высокое значение этому искусству. В наше время итальянцы сохранили в нем некоторые навыки, к большой для себя выгоде, если сравнить их способность суждений с нашей. Учась чему-либо по книгам, движешься вперед медлительно, слабо, безо всякого пыла; живое же слово и учит и упражняет. Если я веду беседу с человеком сильной души, смелым соперником, он нападает на меня со всех сторон, колет и справа, и слева, его воображение разжигает мое. Дух соревнования, стремление к победе, боевой пыл увлекают меня вперед и возвышают над самим собой.

Так как ум наш укрепляется общением с умами сильными и ясными, нельзя и представить себе, как много он теряет, как опошляется в каждомдневном соприкосновении и общении с умами низменными и ущербными. Это самая гибельная зараза. По опыту своему знаю я, чего это стоит. Я люблю собеседование и спор, но лишь с немногими и в тесном кругу. Ибо выставляться напоказ сильным мира, щеголять своим умом и красноречием я считаю делом, недостойным порядочного человека.

*Об
искусстве
собеседо-
вания*

Глупость — свойство пагубное, но неспособность переносить ее, терзаясь раздражением, как это со мною случается, — тоже недуг, не менее докучный, чем глупость, и я готов признать за собою этот недостаток.

В собеседование и спор я вступаю с большой легкостью и охотой, тем более что общепринятые мнения не находят во мне благоприятной почвы, куда можно было бы проникнуть и пустить корни. Никакое суждение не поразит меня, никакое мнение не оскорбит, как бы они ни были мне чужды. Нет причуды столь легкомысленной и странной, которую я не счел бы вполне допустимым созданием человеческого ума. Мы, не признающие за суждением своим права выносить приговоры, должны снисходительно относиться к самым различным мнениям, и если мы с ними и не согласны, будем их все же спокойно выслушивать. Если одна чашка весов совсем пуста, пусть на другую, колебля ее, лягут хотя бы сонные грезы какой-нибудь старушки...

Противные моим взглядам суждения не оскорбляют и не угнетают меня, а только возбуждают и подхлестывают мои умственные силы. Мы не любим поучений и наставлений; однако надо выслушивать их и принимать, особенно когда они преподносятся в виде собеседования, а не какой-нибудь нотации. При малейшем возражении мы стараемся обдумать не основательность или неосновательность его, а каким образом, правдой или неправдой, его опровергнуть. Вместо того чтобы

раскрыть объятия, мы сжимаем кулаки. Я же готов выслушать от друзей самую резкую отповедь: ты дурак, ты говоришь вздор. Я люблю, чтобы порядочные люди смело говорили друг с другом и слова у них не расходились с мыслями. Нам следует иметь уши более стойкие и выносливые и не изнеживать их, слушая одни только учтивые слова и выражения. Я люблю общество людей, у которых близкие отношения основаны на чувствах сильных и мужественных, я ценю дружбу, не боящуюся резких и решительных слов, так же как любовь, которая может кусаться и царапаться до крови.

Ей не хватает пыла и великодушия, если она не задириста, если она так благовоспитанна и изысканна, что боится резких толчков и все время старается сдерживаться.

Тот, кто возражает мне, пробуждает у меня не гнев, а внимание: я влекусь к тому, кто противоречит мне и тем самым учит меня. Общим делом и его и моим должна быть истина. Что сможет он ответить, если ярость уже помutilа ему рассудок, а раздражение вытеснило разум?.. Кто бы ни преподносил мне истину, я радостно приветствую ее, охотно сдаюсь ей, протягиваю ей свое поникшее оружие, даже издалека видя ее приближение...

Иметь дело с людьми, которые восхищаются нами и во всем нам уступают, — удовольствие весьма пресное и даже вредное для нас... Я гораздо больше горжусь победой, которую одержи-

ваю над самим собою, когда в самом пылу спора заставляю себя склониться перед доводами противника, чем радуюсь, одолевая противника из-за его слабости.

Невозможно вести честный и искренний спор с дураком.

Воздействие такого неистового советчика, как раздражение, губительно не только для разума нашего, но и для совести. Брань во время споров должна запрещаться и караться, как другие словесные преступления. Какого только вреда не причиняет и не нагромождает она, неизменно порождаемая злобным раздражением!

Враждебное чувство вызывают в нас сперва доводы противников, а затем и сами люди. Мы учимся в споре лишь возражать, а так как каждый только возражает и выслушивает возражения, это приводит к тому, что теряется, уничтожается истина...

Я люблю и почитаю науку, равно как и тех, кто ею владеет. И когда наукой пользуются как должно, это самое благородное и мощное из приобретений рода человеческого. Но в тех (а таких бесчисленное множество), для кого она — главный источник самодовольства и уверенности в собственном значении, чьи познания основаны лишь на хорошей памяти (*sub aliena umbra latentes*)⁶⁶, кто все черпает только из книг, в тех, осмелюсь сказать, я ненавижу ученость даже несколько больше, чем полное невежество. В нашей стране и в наше время ученость может быть по-

лезной для кармана, но душе она редко что-либо дает. Для слабой души она является тяжелым и труднопереваримым материалом, отягощает и удушает ее. Души утонченные она еще больше очищает, просветляя и истончая их до того, что в них уже как бы ничего не остается. Ученость как таковая, сама по себе, есть нечто безразличное. Для благородной души она может быть добавлением очень полезным, для какой-нибудь иной — вредоносным и пагубным. Вернее было бы сказать, что она вещь драгоценная для того, кто умеет ею пользоваться, но за нее надо платить настоящую цену: в одной руке это скипетр, в другой — побрякушка. . .

Во время охоты ловкость и целесообразность наших действий и является, в сущности, той дичью, за которой мы охотимся: если мы ведем охоту плохо, неумело — для нас нет извинения. А уж поймает ли мы дичь или не поймает — дело совсем другое. Ибо мы рождены для поисков истины. Обладание же ею дано лишь более высокому и мощному духу. Истина вовсе не скрыта, как это утверждал Демокрит, в глубочайших безднах — вернее будет считать, что она царит высоко над нами и владеет ею мысль божества. Мир наш — только школа, где мы учимся познавать. Самое важное не взять приз, а проявить больше всего искусства в состязании. Тот, кто вещает истину, может быть таким же дураком, как и тот, кто городит вздор: ибо дело у нас не столько в том, что именно сказано, сколько в том,

как сказано. Я склонен уделять форме не меньше внимания, чем сути, защитнику дела не меньше, чем самому делу, как считал нужным Алкивиад.

Мне всегда доставляет удовольствие читать произведения различных писателей, не заботясь о том, много ли они знают: меня занимает не самый предмет их, а то, как они его трактуют. Точно так же стараюсь я войти в общение с тем или иным из прославленных умов не для того, чтобы он меня учил, но для того, чтобы узнать его самого...

Предо мной не какое-нибудь единичное злодеяние, не три и не сотня, предо мной повсеместно распространенные, находящиеся всеобщее одобрение нравы, настолько чудовищные по своей бесчеловечности и в особенности бесчестности — а для меня это наихудший из всех пороков, — что я не могу думать о них без содрогания, и все же я люблюсь ими, пожалуй, не меньше, чем ненавижу их. Эти из ряда вон выходящие злодеяния в такой же мере отмечены печатью душевной мощи и непреклонности, как и печатью развращенности и заблуждений. Нужда обтесывает людей и сгоняет их вместе. Эта случайно собравшаяся орда сплачивается в дальнейшем законами; ведь бывали среди подобных орд и такие свирепые, что никакое человеческое воображение

О
суетности

не в силах измыслить что-либо похожее, и тем не менее иным из них удавалось обеспечить себе здоровое и длительное существование, так что потягаться с ними было бы впору разве что государствам, которые были бы созданы гением Платона и Аристотеля.

И, конечно, все описания придуманных из головы государств — не более чем смехотворная блажь, непригодная для практического осуществления. Ожесточенные и бесконечные споры о наилучшей форме общественного устройства и о началах, способных нас спаять воедино, являются спорами, полезными только в качестве упражнения нашей мысли; они служат тому же, чему служат многие темы, используемые в различных науках; приобретая существенность и значительность в пылу диспута, они вне него лишаются всякой жизненности...

Не только предположительно, но и на деле лучшее государственное устройство для любого народа — это то, которое сохранило его как целое. Особенности и основные достоинства этого государственного устройства коренятся в породивших его обычаях. Мы всегда с большой охотой сетуем на условия, в которых живем. И все же я держусь того мнения, что жаждать власти немногих в государстве, где правит народ, или стремиться в монархическом государстве к иному виду правления — это преступление и безумие...

Ничто не ввергает государство в такую бестолочь, как вводимые новшества; всякие перемены

выгодны лишь бесправию и тирании. Когда какая-нибудь часть выпадет со своего места, это дело легко поправимое; можно принимать меры и к тому, чтобы повреждения или порча, естественные для любой вещи, не увели нас слишком далеко от наших начал и основ. Но браться за переплавку такой громады и менять фундамент такого огромного здания — значит уподобляться тем, кто, чтобы подчистить, начисто стирает написанное, кто хочет устранить отдельные недостатки, перевернув все сущее вверх тормашками, кто исцеляет болезни посредством смерти, *non tam commutandarum quam evertendarum rerum cupidus*⁶⁷. Мир сам себя не умеет лечить; он настолько нетерпелив ко всему, что его мучает, что помышляет только о том, как бы поскорее отделаться от недуга, не считаясь с ценой, которую необходимо за это платить. Мы убедились на тысяче примеров, что обычно применяемые им самим средства идут ему же во вред; избавиться от терзающей в данное мгновение боли вовсе не равнозначно окончательному выздоровлению, если при этом общее состояние не улучшилось.

Цель хирурга не в том, чтобы умертвить дикое мясо; это только способ лечения. Он стремится к тому, чтобы на том же месте возродилась здоровая ткань и чтобы тот же участок тела снова зажил нормальной жизнью. Всякий, кто хочет устранить только то, что причиняет ему страдание, недостаточно дальновиден, ибо благо не обязательно идет следом за злом; за ним может по-

следовать и новое зло, и притом еще худшее, как это случилось с убийцами Цезаря, которые вергли республику в столь великие бедствия, что им пришлось раскаиваться в своем вмешательстве в государственные дела. С того времени и вплоть до нашего века со многими произошло то же самое. Мои современники французы могли бы на этот счет многое порассказать. Все крупные перемены расшатывают государства и вносят в них сумятицу. Кто, затевая исцелить его одним махом, предварительно задумался бы над тем, что из этого впоследствии, тот, конечно, охладел бы к подобному предприятю и не пожелал бы приложить к нему руку. . .

Мы, пожалуй, еще не дошли до последней черты. Сохранность государства является, видимо, вещью, находящейся за пределами нашего разумения. Государственное устройство, как утверждает Платон, — это нечто чрезвычайно могущественное и с трудом поддающееся распаду. Нередко оно продолжает существовать, несмотря на смертельные, подтачивающие его изнутри недуги, несмотря на несообразность несправедливых законов, несмотря на тиранию, несмотря на развращенность и невежество должностных лиц, разнузданность и мятежность народа. . .

Было бы желательно установить более разумное соотношение между требуемым и выполнимым; ведь цель, достигнуть которой невозможно, и поставлена, очевидно, неправильно. Нет ни одного честного человека, который, сопоставив свои

поступки и мысли с велениями законов, не пришел бы к выводу, что на протяжении своей жизни он по крайней мере добрый десяток раз заслуживал виселицы, и это относится даже к тем, карать и казнить которых было бы и очень жалко, принимая во внимание приносимую ими пользу, и крайне несправедливо. . .

А иной, может статья, и не нарушает законов, и все же недостоин похвалы за свои добродетели, и философия поступила бы вполне справедливо, если бы его как следует высекла. Взаимоотношения тут крайне сложные и запутанные. Мы не можем и помышлять о том, чтобы считать себя порядочными людьми, если станем исходить из законов, установленных для нас господом богом; мы не можем притязать на это и исходя из наших законов. Человеческое благоразумие еще никогда не поднималось до такой высоты, которую оно себе предписало; а если бы оно ее и достигло, то предписало бы себе нечто еще высшее, к чему бы всегда тянулось и чего жаждало; вот до чего наша сущность враждебна всякой устойчивости. Человек сам себя ставит в необходимость впадать в преступления. Отнюдь не умно выкраивать для себя обязанности не по своей мерке, а по мерке кого-то другого. Кому же предписывает он то, что по его же собственному разумению никому не под силу? И неужели он творит нечто неправо, если не совершает того, чего не в состоянии совершить?

Законы обрекают нас на невозможность вы-

полнять их веления, и они же судят нас за невыполнение этих велений. . .

Кто вмешивается в толпу, тому бывает необходимо пригнуться, прижать к своему телу локти, податься назад или, напротив, вперед, даже уклониться от прямого пути в зависимости от того, с чем он столкнется; и ему приходится жить не столько по своему вкусу, сколько по вкусу других, не столько в соответствии со своими намерениями, сколько в соответствии с намерениями других, в зависимости от времени, от воли людей, в зависимости от положения дел.

Платон говорит, что кому удастся отойти от общественных дел, не замарав себя самым отвратительным образом, тот, можно сказать, чудом спасается. . .

Всеобщее обыкновение и стремление всматриваться во что угодно, но только не в самих себя, в высшей степени благотельно для нашего брата. Ведь мы представляем собой не очень-то приятное зрелище: суетность и убожество — вот и вся наша сущность. Чтобы не отнять у нас бодрости духа, природа направила — и, надо сказать, весьма кстати — деятельность нашего органа зрения лишь на пребывающее вне нас. Мы плывем по течению, а повернуть в обратную сторону и возвратиться к себе — дело исключительно трудное; ведь и море злится и препятствует себе самому, когда, встретив преграду, отходит назад. . .

О том,
что нужно
владеть
своей
волей

... **Б**ольшинство наших занятий — лицедейство. *Mundus universus exercet histrioniam*⁶⁸. Нужно добросовестно играть свою роль, но при этом не забывать, что это всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и внешний облик нельзя делать сущностью, чужое — своим. Мы не умеем отличать рубашку от кожи. Достаточно посыпать мукою лицо, не посыпая ею одновременно и сердца. Я знаю людей, которые, получив повышение в должности, тотчас изменяют и преобразуют себя в столь новые облики и столь новые существа, что становятся важными господами вплоть до печенки и до кишок и продолжают отправлять свою должность, даже сидя на стульчаке. Я не могу их научить отличать поклоны, отвешиваемые их положению, свите, мулу, на котором они восседают, от тех поклонов, что предназначены непосредственно им... Они чванятся и пыжятся и тщатся вытянуть свою душу и данный им от природы ум до высоты своего служебного кресла. Господин мэр и Мишель Монтень никогда не были одним и тем же лицом, и между ними всегда пролегла отчетливо обозначенная граница. Будучи адвокатом или банкиром, нельзя закрывать глаза и не видеть плутней, которые весьма часто свойственны этим профессиям. Порядочный человек не может отвечать за пороки или нелепости своего ремесла и из-за них не должен его бросать, так принято у него в стране, и он имеет от этого выгоду. Приходится извлекать средства к жизни из окружающего нас мира,

приходится добывать из него свое пропитание, каков бы он ни был. Но мысль императора должна витать над подвластной ему империей. Смотря на нее, он должен в ней видеть явление, пребывающее вне его сущности; и должен уметь отличать себя одного от себя другого, беседуя с собою самим, как какой-нибудь Жак с каким-нибудь Пьером.

Я не умею увлекаться ни особенно глубоко, ни безраздельно. Когда мои чувства привлекают меня к какой-нибудь партии, это вовсе не означает, что моя привязанность к ней настолько сильна, чтобы захватить также и мой рассудок. В нынешних раздорах, терзающих нашу страну, мои взгляды не затмевают в моих глазах ни похвальных качеств наших противников, ни того, что заслуживает порицания в тех, за кем я последовал. Люди обычно бывают восхищены всем, что приходится по их сторону; я же отнюдь не склонен снисходительно относиться к большей части того, что я вижу в избранном мною стане...

Я крепко держусь за наиболее здравую из существующих у нас партий, но я нисколько не жажду прослыть заклятым врагом всех остальных и в том, в чем разум на их стороне... И я никоим образом не стал бы оправдывать действия наших властей, если бы они осудили целую книгу только из-за того, что среди лучших поэтов нашего века в ней оказался один еретик. Неужели мы не посмеем сказать о ловком грабителе, что у него хорошая хватка?..

Если адвоката встретили неприязненно, то на следующий день людям начинает казаться, что он утратил свое красноречие. Я уже упоминал в другом месте о рвении, толкавшем вполне честных людей на заблуждения подобного рода. Что до меня, то я всегда умею сказать: вот тут он поступил дурно, а тут замечательно хорошо. Равным образом люди хотят, чтобы всякий принадлежащий к их партии был слеп и глух к зловещим предсказаниям на ее счет и ко всем ее неудачам; они хотят, чтобы наши убеждения и наш разум служили не раскрытию истины, а поддержанию в нас наших надежд. Я склонен скорее к другой крайности, ибо боюсь, как бы эти мои надежды не увлекли меня за собой. К тому же я не вполне себе доверяю, когда мне чего-нибудь очень хочется. Я повидал в свое время немало чудес: я видел совершенно непостижимое и безрассудное легкомыслие целых народов, позволявших себя вести и собою руководить своим избранникам и вождям, которые вселяли в них надежду и веру, как им самим было выгодно и угодно, хотя и громоздили сотни ошибок одну на другую и гнались за мечтами и призраками...

Достаточно кому-нибудь высказаться по тому или иному животрепещущему вопросу, как начинается столкновение взглядов, мятущихся, словно волны морские по воле ветра. Если ты решаешь иметь свое мнение, если не отбиваешь шага вместе со всеми, значит, дух товарищества тебе чужд. Но помогать плутням даже тех партий, чье

дело правое, означает наносить им ущерб. Я всегда противился этому. Таким способом можно воздействовать лишь на глупые головы; а чтобы поддержать дух людей здравомыслящих и объяснить им причины случившихся неудач, существуют пути не только более честные, но и более верные. . .

... **Т**рудное дело — сохранить в неприкосновенности свое суждение, когда на него так давят общепринятые взгляды. Сперва предмет разговора убеждает простаков, после них убежденность, поддержанная численностью уверовавших и древностью свидетельств, распространяется и на людей тонкого ума. Я же лично если в чем-либо не поверю одному, то и сто одного не удостою веры и не стану также судить о воззрениях на основании их древности. . .

*О
хромых*

...В начале всяческой философии лежит удивление, ее развитием является исследование, ее концом — незнание. Надо сказать, что существует незнание, полное силы и благородства, в мужестве и чести ничем не уступающее знанию, незнание, для постижения которого надо ничуть не меньше знания, чем для права называться знающим. . .

...Мне запрещают сомневаться в чудесах, грозя в противном случае самыми ужасными оскорблениями. Вот вам и новый способ убеждения. Но,

слава богу, верой моей нельзя руководить с помощью кулачной расправы! Пусть люди эти обрушиваются на тех, кто объявляет их убеждения ложными. Я считаю эти мнения лишь трудно доказуемыми и слишком смелыми и даже осуждаю противоположные утверждения, хотя и не столь властным тоном... Те, кто подкрепляет свои речи вызывающим поведением и повелительным тоном, лишь доказывают слабость своих доводов... Если речь идет о том, чтобы лишить кого-то жизни, необходимо, чтобы все дело представало в совершенно ясном и честном освещении. И жизнь наша есть нечто слишком реальное и существенно важное, чтобы ею можно было расплачиваться за какие-то сверхъестественные и воображаемые события...

...Насколько естественнее считать, что разум наш помутился от причуд нашего же расстроенного духа, чем поверить, будто один из нас в своей телесной оболочке вылетел на метле из печной трубы по воле духа потустороннего! И для чего нам, постоянным жертвам воображаемых тревог домашнего и житейского порядка, поддаваться обману воображения по поводу явлений сверхъестественных и нам неведомых. Мне кажется, что вполне простительно усомниться в чуде, поскольку, во всяком случае, достоверность его можно испытать каким-либо не чудесным способом...

...Во всяком случае, заживо поджарить человека из-за своих домыслов — значит придавать им слишком большую цену...

... **Д**ля чего нам призывать себе в помощь силу науки? Обратим взор свой к земле, на бедных людей, постоянно склоненных над своей работой, не ведающих ни Аристотеля, ни Катона, никаких примеров, никаких философских поучений: вот откуда сама природа каждодневно черпает примеры твердости и терпения, более чистые и более четкие, чем те, которые мы так любознательно изучаем в школе. Сколько приходится мне видеть бедняков, не боящихся своей бедности! Сколько таких, что желают смерти или принимают ее без страха и скорби! Человек, работающий у меня в саду, похоронил нынче утром отца или сына. Даже слова, которыми простой человек обозначает болезни, словно смягчают и ослабляют их тяжесть. О чихотке он говорит «кашель», о дизентерии — «расстройство желудка», о плеврите — «простуда», и, именуя их более мягко, он и переносит их легче. Болезнь для него по-настоящему тяжела тогда, когда из-за нее приходится прекращать работу. Эти люди ложатся в постель лишь для того, чтобы умереть...

*О физио-
номии*

... **Е**сли мы бываем довольны тем, что другие или же мы сами добыли в этой погоне за знанием, то лишь по слабости своих способностей: человек более пытливого ума не будет доволен. За ним пойдет кто-то другой (пойдем и мы сами), открывая новые пути. Пытливости на-

*Об
опыте*

шей нет конца: конец на том свете. Удовлетворенность ума — признак его ограниченности или усталости. Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому. Если он не влечется вперед, не торопится, не встает на дыбы, не страдает, значит, он лишь наполовину жив. Его стремления не ведают четкой намеченной цели и строгих рамок, пища его — изумление перед миром, погоня за неизвестным, дерзновение. То же было и в оракулах Аполлона, всегда двусмысленных, темных, уклончивых; они не давали настоящего удовлетворения, а только развлекали и тревожили сознание. Все это — беспорядочное, но непрерывное движение вперед, по неизведанным путям и к неясной цели. Мысли наши распаляются, бегут друг за другом, одна порождает другую...

Гораздо больше труда уходит на перетолковывание толкований, чем на толкование самих вещей, и больше книг пишется о книгах, чем о каких-либо иных предметах; мы только и делаем, что составляем глоссы друг на друга.

Комментаторы повсюду так и кишат, а настоящих писателей — нехватка.

Разве самая первая и самая славная ученость нашего времени не в том, чтобы уметь понимать ученых? Разве это не общая и последняя цель обучения наукам?

Мнения наши нарастают одно на другое: первое служит стеблем для второго, второе — для

третьего. Так мы и поднимаемся со ступеньки на ступеньку. И от этого получается, что тому, кто залез выше всего, часто выпадает больше чести, чем он заслужил, ибо, взобравшись на плечи предыдущего, он лишь чуточку возвышается над ним...

Моя потребность в свободе так велика, что если бы мне вдруг запретили доступ в какой-то уголок, находящийся где-нибудь в индийских землях, я почувствовал бы себя в некоторой мере ущемленным. И я не стал бы прозябать там, где вынужден был бы скрываться, если бы где-то в другом месте можно было обрести свободную землю и вольный воздух. Боже мой, как трудно было бы мне переносить участь стольких людей, прикованных к какому-то определенному месту в нашем государстве, лишенных доступа в главные города и королевские замки и права путешествовать по большим дорогам за то, что они не желали повиноваться нашим законам! Если бы те законы, под властью коих я живу, угрожали мне хоть кончиком мизинца, я немедленно же постарался бы укрыться под защиту других законов, куда угодно, в любое место. В наше время, когда кругом свирепствуют гражданские распри, все мое малое разумение уходит на то, чтобы они не препятствовали мне ходить и возвращаться куда и когда мне заблагорассудится.

Однако законы пользуются всеобщим уважением не в силу того, что они справедливы, а лишь потому, что они являются законами. Таково ми-

стическое обоснование их власти, и много у них нет. Впрочем, этого им вполне достаточно. Часто законы создаются дураками, еще чаще людьми, несправедливыми из-за своей ненависти к равенству, но всегда людьми — существами, действующими суетно и непоследовательно.

Ничто на свете не несет на себе такого тяжелого груза ошибок, как законы. Тот, кто повиновался им потому, что они справедливы, повиновался им не так, как должен...

Все мы — великие безумцы. «Он прожил в полной бездеятельности», — говорим мы. «Я сегодня ничего не совершил». Как? А разве ты не жил? Просто жить — не только самое главное, но и самое замечательное из твоих дел. «Если бы мне дали возможность участвовать в больших делах, я показал бы, на что способен». А сумел ты обдумать свою повседневную жизнь и пользоваться ею как следует? Если да, то ты уже совершил величайшее дело. Природа не нуждается в какой-либо особо счастливой доле, чтобы показать себя и проявиться в деяниях. Она одна и та же на любом уровне бытия, одна и та же за завесой и без нее...

...Мне приятно видеть, как полководец под стеной, в которой его войскам сейчас предстоит вершить пролом, спокойно и беззаветно предается трапезе и беседе с друзьями, как Брут, несмотря на то что против него и римской свободы ополчились и земля и небо, отрывает у своего ночного бдения несколько часов, чтобы спокойно почитать

Полибия⁶⁹ и сделать из него выписки. Лишь мелкие люди, которых подавляет любая деятельность, не умеют из нее выпутаться, не умеют ни отойти на время от дел, ни вернуться к ним...

Народ ошибается: гораздо легче ехать по обочинам дороги, где края указывают возможную границу и как бы направляют едущего, чем по широкой и открытой середине, безразлично — природой ли она создана или настлана людьми. Но, конечно, в езде по обочинам меньше и благородства и заслуги. Величие души не столько в том, чтобы без оглядки устремляться вперед и все выше в гору, сколько в том, чтобы уметь поспасаться с обстоятельствами и обойти препятствия. Она считает подлинно великим именно достаточное и возвышенность свою проявляет в том, что средний путь предпочитает лазанью по вершинам. Нет ничего более прекрасного и достойного одобрения, чем должным образом хорошо выполнить свое человеческое назначение. Нет науки, которой было бы труднее овладеть, чем умением хорошо и согласно всем естественным законам прожить эту жизнь. А самая зверская из наших болезней — это презрение к своему естеству...

Мне очень нравится приветственная надпись, которой афиняне почтили прибытие в их город Помпея:

Себя считаешь человеком ты, —
И в этом — божества черты.

Действительно, умение достойно проявить себя в своем природном существе есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног.



КОММЕНТАРИИ



¹ «Католическая лига» — монархическая партия, борющаяся за сильную королевскую власть и недовольная половинчатой политикой Генриха III, его уступками партии гугенотов.

² «Benedicite» («Благословите») — латинская католическая молитва, читаемая перед принятием пищи.

³ Стоицизм — одно из значительных философских учений эпохи эллинизма, утверждавшее независимость нравственных принципов поведения человека от воздействия природных и общественных сил. Возник в IV веке до н. э. в Афинах.

⁴ Вилланель — деревенская песенка примерно из шести строф; каждая строфа — по три или четыре стиха.

⁵ «Несчастлива душа, исполненная забот о будущем» (Сенека, Письма).

⁶ «Так что чужеземец для человека иного племени не является человеком» (Плиний Старший, «Естественная история»).

⁷ Это изречение было начертано среди других греческих изречений на потолке библиотеки Монтеня.

⁸ Прелат — в католической и англиканской церкви название высших духовных сановников.

⁹ Булонь была сдана де Вервеном королю английскому Генриху VIII в 1544 году.

¹⁰ Харонд (VII век до н. э.) — законодатель греческих колоний в Сицилии и Калабрии.

¹¹ Сенека.

¹² Л и к у р г — легендарный древнеспартанский законодатель.

¹³ Здесь у Монтеня неточность: Сократа приговорили к смерти не тридцать тиранов, а афинский суд присяжных в 400 году до н. э.

¹⁴ Эта мысль Монтеня чрезвычайно важна: она доказывает, что вразрез с католическим вероучением Монтень отрицает бессмертие души (Монтень повторяет эту мысль и в других местах «Опытов»).

¹⁵ Из мемуаров и работ современников Монтеня известно, что ему неоднократно делались подобного рода предложения, ибо современники Монтеня ценили его умение разбираться в происходящих событиях, о которых он всегда был хорошо осведомлен благодаря близости к виднейшим политическим деятелям того времени, и уважали его независимые суждения.

¹⁶ Г а й С а л л ю с т и й К р и с п (ок. 86—35 годы до н. э.) — знаменитый римский историк, автор «Заговора Катилины» и «Войны с Югуртой».

¹⁷ Монтень весьма прозрачно намекает здесь на то, что он не может свободно выражать мысли и вынужден высказывать свои взгляды и суждения так, чтобы на него не обрушились преследования со стороны властей. Подобные признания встречаются и в других главах «Опытов».

¹⁸ Д е м а д (ум. в 318 году до н. э.) — афинский государственный деятель, блестящий оратор и дипломат.

¹⁹ Д у б л ь — старинная мелкая монета; д у б л о н — золотая монета.

²⁰ В XVI веке во Франции, как и в большинстве других европейских странах, действовали законы, текст которых существовал лишь на латинском языке.

²¹ Исократ (436—338 годы до н. э.) — выдающийся древнегреческий публицист и оратор, автор многочисленных речей и памфлетов.

²² Рассказ об упоминаемом в тексте гасконском дворянине встречается в «Истории Франции» Паоло Эмилио (или Эмили), итальянского историка из Вероны (ум. в 1529 году в Париже), которого Карл VIII пригласил во Францию в качестве королевского историографа. Преемник Карла VIII, Людовик XII, предложил ему написать «Историю Франции».

²³ Такой порядок замещения судебных должностей во Франции установился с 1526 года. Его ввел канцлер Франциска I кардинал Антуан Дюпра (1463—1535). Эти высказывания Монтеня были в дальнейшем восприняты Монтескье, который критикует этот обычай в «Персидских письмах».

²⁴ Фурииды — жители древнего города Фурии в Южной Италии (основан в 443 году до н. э.).

²⁵ Монтень имеет в виду легендарного законодателя Спарты — Ликурга.

²⁶ Фринис с острова Митилены (род. ок. 480 года до н. э.) прибавил еще две струны к кифаре, у которой до того было семь струн.

²⁷ Меч этот хранился в Марселе со времени основания города как символ нерушимости древних обычаев.

²⁸ Монтень имеет в виду гражданские войны, которые велись во Франции под флагом религиозных разногласий с 1562 года, неся стране ужасающее разорение, и закончились лишь после смерти Монтеня, в 1594 году.

²⁹ Намек на зверства феодалов-католиков, которые во время гражданских войн второй половины XVI века во Франции, так же как и гугеноты, восставали против королевской власти.

³⁰ «Доверие, оказываемое вероломному, дает ему возможность вредить» (Сенека, Письма).

³¹ А р п а н — земельная мера, приблизительно от $\frac{1}{3}$ до $\frac{1}{2}$ гектара.

³² Начиная с абзаца «Что до философов...» и вплоть до слов «заносчивым и надменным» Монтень довольно точно пересказывает одно из мест из 24-й главы «Феэтета» Платона.

³³ Монтень здесь неточен. По древним свидетельствам, эти идеи приписываются не Дионисию, а философу Диогену.

³⁴ «Над нами нет царя; пусть же каждый распоряжается собою свободно» (Сенека, Письма).

³⁵ Платон, «Горгий».

³⁶ Б и а н т (VI век до н. э.) — древнегреческий философ.

³⁷ «Э к к л е з и а с т» — название ветхозаветной библейской книги.

³⁸ Сенека, Письма.

³⁹ Речь идет не о Фукидиде, сыне Олора, — историке, а о Фукидиде, сыне Мелесия, — афинском политическом деятеле, вожде «аристократической» партии, яром противнике Перикла, подвергшемся остракизму в 443 году до н. э.

⁴⁰ Опережая своих современников на целых два века, Монтень изобличает полную несостоятельность пыток как способа судебного дознания. Никто, кроме Монтеня и прогрессивного испанского философа Луиса Вивеса (1492—1540), не протестовал в XVI веке против пыток, которые

считались нормальным средством судопроизводства и были отменены во Франции лишь в 1780 году.

⁴¹ «Беда заставляет лгать даже невинных» (Публий Сир, Изречения).

⁴² Ф и л о т а (360—330 годы до н. э.) — друг Александра Македонского, впоследствии начальник отряда отборной конницы; был обвинен в соучастии в заговоре на жизнь Александра и по приговору македонского войска побит камнями. По словам биографа Александра — Клитарха, Филота был подвергнут пытке и во всем сознался.

⁴³ Л е о н о р — сокращенное имя дочери Монтеня Элеоноры (1571—1616).

⁴⁴ Монтень неоднократно настаивает на этой мысли и, по-видимому, полемизирует здесь с Маккиавелли, выдвинувшим в своем «Государстве» прямо противоположный тезис: «Лучше, чтобы тебя боялись, чем любили».

⁴⁵ С о л о н (640—560 годы до н. э.) — известный древнегреческий политический деятель, законодатель и поэт. Минос — легендарный царь Древнего Крита. В греческой мифологии Минос — сын Зевса и Европы; с его именем связан ряд мифов.

⁴⁶ «Надо, чтобы мой конь напряг все силы для достижения этой цели» (Проперций).

⁴⁷ И о а н н С е к у н д (1511—1536) — французский поэт, писавший по-латыни. Его любовные стихи (сборник «Поцелуй») высоко ценились современниками и были впервые изданы в 1541 году.

⁴⁸ «А м а д и с» — испанский рыцарский роман, переведенный на большинство европейских языков. Несмотря на экстравагантности, гениально высмеянные в пародии Сервантеса «Дон-Кихот Ламанчский», обладал безусловными литературными достоинствами, которых были лишены его бездарные подражания.

⁴⁹ «А к с и о х» — диалог, ошибочно приписывавшийся Платону.

⁵⁰ «Не приходилось делать больших усилий там, где ум заменен был сюжетом» (Марциал, Предисловие к VIII книге).

⁵¹ «Решаясь только на короткие перелеты» (Вергилий, «Георгики»).

⁵² Любовь Монтеня к чтению исторических сочинений доказывается многочисленными замечаниями, сохранившимися на его экземплярах «Записок о галльской войне» Юлия Цезаря, на «Истории» Квинта Курция и в особенности на «Анналах» Николая Жюльена.

⁵³ Диоген Лаэртский — древнегреческий ученый III века до н. э., один из первых историков философии. Его сочинения «Жизнь и учения людей, прославившихся в философии» (10 книг), несмотря на компилятивный характер, являются ценным источником для знакомства с древнегреческой философией.

⁵⁴ Современникам Монтеня, на глазах у которых творились кровавые бесчинства Варфоломеевской ночи, можно было не называть имен Екатерины Медичи и ее сына Карла IX — вдохновителей этой резни: всем было ясно, кому адресованы слова «чудовища в образе людей».

⁵⁵ Достойна внимания любовь и жалость гуманиста Монтеня к животным. Ни у кого из французских мыслителей XVI—XVII веков мы не встречаем подобных идей. Любопытно, что аналогичные мысли развивал в своем замечательном «Завещании» революционный коммунист-утопист XVIII века Жак Мелье (1664—1729).

⁵⁶ Идоменей Лампсакский (325—270 годы до н. э.) — древнегреческий писатель и политический деятель, друг Эпикура.

⁵⁷ «Без сомнения, всем управляет случай. Он скорее по прихоти своей, чем по справедливости, одни события покрывает

вает славой, другие — мраком забвения» (Саллюстий, «Заговор Катилины»).

⁵⁸ Метродор Лампсакский (330—277 годы до н. э.) — друг, ученик и единомышленник Эпикура.

⁵⁹ Аркесилай (315—241 годы до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, основатель Средней (2-й) платоновской Академии.

⁶⁰ Аристипп из Килены (ок. 435—360 годы до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа. После смерти Сократа основал Киренскую школу.

⁶¹ «Не из какой-либо корысти, а ради чести самой добродетели» (Цицерон, «О высшем благе и высшем зле»).

⁶² После смерти отца семейства основная часть имущества отходила, как правило, — особенно в дворянских семьях — к старшему сыну, остальные же получали очень незначительную долю.

⁶³ «Народ мудрее, ибо он мудр настолько, насколько нужно» (Лактанций, «Божественные установления»).

⁶⁴ «Что было пороками, то теперь нравы» (Сенека, Письма).

⁶⁵ Гиппомах (по Плутарху) — руководитель гимнасия.

⁶⁶ «Скрывающиеся в чужой тени» (Сенека, Письма).

⁶⁷ «Стремься не столько к изменению существующего порядка, сколько к его извращению» (Цицерон, «Об обязанностях»); Монтень несколько изменил слова Цицерона, приспособляя их к своему контексту.

⁶⁸ «Весь мир занимается лицедейством» (стих Петрония, сохраненный Иоанном Салисберийским).

⁶⁹ Полибий (ок. 210—125 годы до н. э.) — древнегреческий историк.

СОДЕРЖАНИЕ



<i>А. Гулыга, Л. Пажитнов. Мишель Монтень и его книга</i>	7
ОПЫТЫ	
К читателю	77
Наши чувства устремляются за пределы нашего «я»	78
О лжецах	80
О том, что наши восприятия блага и зла в значительной мере зависят от представления, которое мы имеем о них	81
О наказании за трусость	85
О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер	87

О том, что философствовать—это значит учиться умирать	88
О силе нашего воображения	94
Выгода одного — ущерб для другого	97
О привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы	98
О педантизме	108
О воспитании детей	114
Безумие судить, что истинно и что ложно, на основании нашей осведомленности	121
Об умеренности	122
О каннибалах	123
О том, что судить о божественных предначертаниях следует с величайшей осмотрительностью	125
Об уединении	126
О существующих среди нас различиях	128
О суетности слов	130
О суетных ухищрениях	131
О молитвах	132
О совести	133
О родительской любви	134
О книгах	137
О жестокости	144
Апология Раймунда Сабундского	146

О славе .	147
О самомнении .	153
О гневе	164
О полезном и честном	166
О раскаянии .	—
О трех видах общения	171
О стеснительности высокого положения . . .	173
Об искусстве собеседования	175
О суетности	180
О том, что нужно владеть своей волей . . .	186
О хромых	189
О физиогномии	191
Об опыте . . .	—
Комментарии	197



ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Мишель Монтень

Об искусстве жить достойно

Ответственный редактор

Э. П. Микоян

Художественный редактор

Н. И. Комарова

Технические редакторы

И. Я. Колодная

и С. Г. Маркович

Корректоры

Л. М. Агафонова

и Г. Ю. Гнетова

Сдано в набор 22/V 1973 г. Подписано к печати 20/XI 1973 г. Формат 70×108^{1/32}. Бум. офсет. № 1. Печ. л. 6,5. Усл. печ. л. 9,1. Уч.-изд. л. 7,15. Тираж 75 000 экз. Заказ № 461. Цена 50 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглаволиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7.

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Монтень М.

М 77 Об искусстве жить достойно. Философские очерки. Составит. и авторы предисл. А. Гулыга и П. Пажитнов. Худож. Л. Зусман. М., «Дет. лит.», 1973.

206 с. с ил.

Книга состоит из двух частей. Первая часть -- рассказ о французском философе и просветителе XVI века Мишеле Монтене, его времени, его взглядах. Вторая часть -- отрывки из «Опытов» Монтеня.





Цена 50 коп.



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ